

РЕАЛЬНОСТЬ КОНТИНУУМА

Илья Иослович

Семен Каминский

Лана Райберг

Салахитдин Муминов

Оксана Елисеева

Каринэ Арутюнова

Александр Орлов

Владимир Плесов

Александр Матвейчев

Юрий Максимов

ББК 84(2Рос=Рус)

Р 311

Р 311 Реальность континуума: сборник / Иослович И.В. и др.; ред.-сост. Наумова М.О. – Красноярск: ООО "День и Ночь", 2013.- 188 с. (Серия: «ДиН-библиотека»; Приложение к журналу «День и Ночь»)

© ООО «Редакция литературного
журнала «День и Ночь», 2013

© И. Иослович, 2013

© С. Каминский, 2013

© Л. Райберг, 2013

© С. Муминов, 2013

© О. Елисеева, 2013

© К. Арутюнова, 2013

© А. Орлов, 2013

© В. Плёсов, 2013

© А. Матвейчев, 2013

© Ю. Максимов, 2013

© Васильева В.Ю., 2013

АНКЕТА

Начну с пра-пра-дедушки. Его звали Илья-Гецель, он был николаевский солдат из кантонистов. Служил на Кавказе, отслужил 25 лет и поселился неподалеку, в Ставрополе. Гуманный царский режим не распространял ограничения черты оседлости на отставных солдат. Он в теплом солнечном Ставрополе занялся портновским ремеслом, женился и родил сына Вениамина. Вениамин тоже был портным, женился на Саре Вайншток и родил пятерых дочерей: Ольгу, Ревекку, Риву, Веру и Марию, а также сыновей Пашу и Илью-Гецеля. Вера уехала в Америку, и о ней ничего не известно. Мария вышла замуж за Давида Прута, и у них родился мой двоюродный дядя Веня, военный инженер-строитель, полковник.

Мой дед, Илья-Гецель, родился в 1879 году. Он женился на Софье Рожанской, и у них было трое детей: Матвей (Мотя), Мария (Муся) и Вениамин. Младший, Вениамин, был мой отец. Он родился в 1908 году. Отец моей бабушки Софьи, Григорий Рожанский, тоже был портной, но зажиточный, имел свою мастерскую. Илья-Гецель работал у него мастером и женился на дочери хозяйна. Видимо, это был для него шанс выбраться на поверхность. Он был южный красавец-брюнет с густыми усами, очень похож на писателя Ги де Мопассана. Бабушка Софья, судя по фотографии, красотой не отличалась. На этой фотографии он сидит на лавочке в парке, среди густой зелени, на нем белые брюки и летний чесучовый пиджак, на голове шляпа-канотье. Вокруг него четыре дамы – жена, ее сестра Зина, дочь Муся и еще кто-то. Дамы в белых шляпах и с зонтиками от солнца. Он смотрит в аппарат снисходительно, дамы улыбаются.

Дедушка Илья-Гецель расширил мастерскую и поставил дело на широкую ногу. Мастерская превратилась в ателье с конфекционом, то есть с магазином готового платья. Он одевал весь Ставрополь. Каждую весну он ездил в Вену и Париж за свежими мо-

дами. В местной газете печатались стихи: «Семь министерских фраков сшил портной Иословиц Яков...» Почему Яков – непонятно, но не в этом дело. Наверно, для рифмы. Вечерами он ходил в коммерческий клуб или дома читал детям вслух классику из приложений к журналу «Нива». Я нашел в Интернете местную газету с его письмом об увековечивании памяти какого-то гласного городской думы. Из Петербурга приезжала в гости просвещенная кузина Рожанская, дипломированный зубной врач, и принимала в их саду позади дома воздушные и солнечные ванны, т.е. лежала, в чем мать родила. Соседи и прохожие висели на заборе. Маленького Веню учили музыке, попалась хорошая учительница, у него оказался абсолютный слух, музыкальное образование ему потом очень помогло. Одновременно он ходил в Хедер, училище при синагоге, учил иврит и молитвы. Он вступил в отряд скаутов. Скауты должны были каждый день совершать, по крайней мере, три добрых дела – ну, там старушку через дорогу перевести или еще что-то в этом духе. Когда его отдали в гимназию, Илья-Гецель сам сшил ему гимназическую шинель. А когда началась Первая мировая война, папе сшили военную форму, и он в ней гордо сфотографировался. Ему тогда было шесть лет. В 1915 году главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич, опасаясь шпионажа и, будучи, как вся царская семья, зоологическим антисемитом, выселил евреев из прифронтовой полосы. Миллионы еврейских беженцев, лишившись всего имущества, были брошены на произвол судьбы. Часть из них добралась до Ставрополя, где еврейская община старалась им помочь. Иословици приютили семью беженцев на все время войны и революции. Папа вспоминал, что этим беженцам Иословици отдали часть семейных драгоценностей. Потом эта семья уехала во Францию. В двадцатые годы, во время безработицы, они приглашали папу приехать во Францию учиться, но из этого ничего не вышло – наверно, его просто не выпустили. В гимназии прогрессивные ставропольские купцы устроили железную дорогу: пол в длинном коридоре покрыли асфальтом, и там ходил маленький локомотив с вагончика-

ми, катал детей. В 1984 году я был в командировке в Ставрополе, в здании гимназии было училище войск ПВО.

В общем, до революции жизнь папы была счастливой. В 1917 году Илья-Гецель сделал выгодную покупку, купил в центре Ставрополя трехэтажный каменный дом. Я его видел.

Потом все изменилось. Началась Гражданская война. Никто не заказывал модной одежды. Моего дядю Мотю зарубили белые казаки в 1919 году. Он был гимназист выпускного класса, его мобилизовали в белую армию, но он не хотел сражаться за белую идею, сбежал вместе с товарищем и пробирался домой. Они наняли телегу с возницей и ехали по дороге, но тут наскочили казаки. Товарищ мгновенно прыгнул с телеги и скатился в овраг, а Мотя не успел, и его тут же зарубили. Казаки ускакали. Наверно, на той же телеге его привезли домой. Можно себе представить, как эта история повлияла на маленького Веню. В том же году у тети Муси случился приступ аппендицита, Илья-Гецель повез ее в Ростов-на-Дону делать операцию, там он заразился сыпным тифом и умер. Ему было сорок лет. Весь год мой папа читал по нему заупокойную молитву «Кадиш»— он был старший мужчина в семье. Ему было 11 лет, до его совершеннолетия, бар-мицвы, Илья-Гецель не дожил.

В 1920 году бабушка Софья Григорьевна забрала детей и переехала в Москву, купила там две комнаты и стала жить. Житье было трудное. Тетя Муся вышла замуж и родила дочь Эллочку. Когда Вене исполнилось 16 лет, родственники сказали ему, что он должен сам о себе заботиться, т. е. просто показали ему на дверь. Он старался, как мог. Поступил на завод «Динамо», потом поехал по набору на лесозаготовки.

Там чуть не отрубил себе ногу острым топором, шрам остался на всю жизнь. В высшее учебное заведение его не брали по социальному происхождению. По той же причине не принимали в комсомол. Жил он в это время на птичьих правах у приятелей в общежитии на свободной койке. Один из его друзей той поры, по имени Коля, потом стал главным энергетиком Горьковского автозавода. После войны его сын сидел в тюрьме, и он время от

времени приезжал в Москву за него хлопотать. Ночевал в нашей комнате на полу.

Одно время папа учился в электротехническом институте Якова Кагана Шабтая (ГЭМИКШ), это было новаторское заведение, где студенты четыре дня учились, а два дня работали, оплачивая тем самым учение и, заодно, приобретая практические навыки. Яков Каган Шабтай был известный инженер, просветитель и лекционер, друг Флоренского, Шагала, Фалька и Лисицкого. В этом институте папа подружился с моей дальней родственницей с маминой стороны, Женей Поляковой, потом она вышла замуж за Ференца Биро, венгерского политического эмигранта, брата коминтерновского деятеля Матиуша Ракоши. Матиуш, будущий венгерский вождь, сидел в то время в венгерской тюрьме у регента Хорти, его освободили по сделке в 1939 году. Обменяли на знамена Кошута. С Женей и Ференцем (Фери) папа дружил всю жизнь.

В 1930 году папу призвали на год в Красную Армию, где он окончил курсы командиров взводов зенитных пулеметов. Его близкий друг из Ставрополя, Миша Гриц, вступил в движение «Хахалуц». Пока оно не было запрещено, они изучали сельское хозяйство, готовились уехать в Палестину, осуществлять сионистскую мечту. Через некоторое время он туда уехал, и больше о нем ничего не было известно. В Израиле я тоже о нем не слышал. Но перед этим он познакомил папу с пианисткой Катей Гертсбах (собственно, скорее, она была тапершей в кинотеатре). У нее с Мишей был роман, но потом Миша решил, что у нее не все дома, и отошел в сторону, а папа тут же на ней женился, хотя Миша его очень отговаривал. В самом деле, потом выяснилось, что у нее, по-видимому, шизофрения, хотя и в легкой форме. У них вскоре родилась дочь Инга, моя единокровная сестра.

Папа стал работать в журнале «За индустриализацию», потом в редакции истории фабрик и заводов. Эту редакцию основал Максим Горький, потом ее закрыли. Папин друг, искусствовед Сергей Гинзбург, устроил его в Союз советских писателей на прекрасную должность – организовывать индивидуальное

обучение писателей. Советские писатели, в массе довольно-таки безграмотные, имели право учиться, чему угодно, и папа это организовывал. Оставалось достаточно свободного времени, и папа поступил на вечернее отделение механико-математического факультета МГУ. Там он встретил мою маму, Наташу Полякову, дочь врача. Она, видимо, влюбилась в него с первого взгляда, проявила решительность и закрутила роман. Это совершенно не было ей свойственно. В августе 1936 года, пока в Москве судили Каменева и Зиновьева, они поехали в Крым, там путешествовали из санатория в санаторий, папа играл на фортепьяно, за это их кормили и давали ночлег. По возвращении в Москву она без колебаний быстро развелась со своим тогдашним мужем. И то сказать, папа был обаятельный красавец, хотя и голодранец, а ее прежний муж Лев Рубинштейн – вислоносый зануда с казенными идейными убеждениями, из влиятельной и благополучной партийной семьи. При нем о Советской власти нельзя было сказать ничего плохого, а значит, нельзя было с ним ходить ни в какие гости, кроме его родственников. Кстати говоря, как вскоре выяснилось, этот развод спас ей жизнь – Льва Рубинштейна через полгода арестовали вместе со всей его семьей: его сестра, Циля Кин, была замужем за известным советским писателем и дипломатом Виктором Кином, а тот входил когда-то в литературную группу «Литературный фронт», а этот фронт поддерживал секретарь ЦК Ломинадзе. Потом Ломинадзе попал в опалу, и цепочка начала раскручиваться в обратную сторону. Мемориальная доска Виктора Кина висит на стене «Дома на набережной», где они жили бок о бок с правительственной элитой. А может быть, дело и не в этом. Так или иначе, видные и влиятельные партийные родственники оказались проклятием. Папа, с трудом, тоже развелся, они поженились в декабре 1936 года. Я родился в августе 1937-го. Мама и папа незадолго до этого окончили мехмат и начали работать. Папа работал сначала в научно-исследовательском институте, но ему там не понравилось, и он перешел учителем математики в среднюю школу №73 в Серебряном переулке, рядом с нашим домом. Ученики

его обожали. Через два года, как раз точно в мой день рождения, Молотов и Риббентроп подписали в Кремле пакт о ненападении между СССР и Германией, с тем самым секретным протоколом о разделе Польши и так далее.

Папу призвали в армию, и он отправился в освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию. Где именно он там был со своим взводом – я не знаю, но мама говорила, что от него долго не было писем, полевая почта не справлялась. Как я понимаю, в боевых действиях они не участвовали. Он рассказывал, что как-то его бойцы растащили для ночлега крестьянскую солому, и его заставили за нее платить. В другой раз какой-то солдат его взвода отстал на походе, и ему приказали отправиться на поиски. Где его искать, было неизвестно, а неисполнение приказа – трибунал. По счастью, солдат нашелся. Пока он был в походе, мама вместо него преподавала в школе. Папу ученики обожали, а на нее не обращали внимания. Так что как-то она в отчаянии приподняла стул и ударила им об пол. Стул сломался. Почти как у учителя, который упомянут в пьесе Гоголя «Ревизор».

Примерно через год началась война с Финляндией. Папу послали на фронт уже ближе к концу, за несколько дней до перемирия. Мама вспоминала, что когда воинский эшелон тронулся, вся толпа провожающих издала долгий стон, как один человек. Потери в этой войне были ужасающие. Папа несколько дней ждал назначения в штабе по своей зенитной специальности – а тем временем, почти всех прибывших с ним вместе командиров протащили назад в тыл на волокушах, убитыми и ранеными. У меня долго хранился с этой войны теплый шерстяной подшлемник, который надевался под каску.

Наконец, после всех волнений, родители встречали в кругу друзей новый 1941 год. Маме под тарелку подложили стишок: «Но новый 41-й год покой и счастье ей несет!»

Когда война началась, мы были на даче в Трехгорке. Папу немедленно мобилизовали, и он некоторое время служил в москов-

ских частях ПВО, его взвод стоял на крышах домов и вел огонь при налетах. В сентябре его перевели в Ленинград. У него были медали «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда» и еще «За победу в Великой Отечественной войне». Одно время у него хранилась фронтовая газета, где описывалось, как лейтенант Иослович, стоя на крыше, под вой бомб и пулеметные очереди немецких самолетов бесстрашно командует своими зенитчиками.

Перед тем как уехать в эвакуацию, я его видел перед долгой разлукой сквозь стекло двери метро, когда он в августе провожал нас с мамой в Юрьев-Польский. Мне еще не было четырех лет. В Юрьеве-Польском отсидеться не получилось, и в начале октября мы отправились в Благовещенск около Уфы. Папа уже был в Ленинграде.

После войны он мне объяснял, что по самолету стреляют все части, сколько есть, а кто именно сбил – всегда предмет споров. Один раз доказательства были на его стороне, и он получил орден Красной Звезды. Некоторое время еще до 1947 года этот орден давал право бесплатного проезда, и сколько-то денег платили, но вскоре перестали. В другой раз к ордену его представили, но тут в его части почему-то сгорел клуб, и представление отменили.

Зимой 1941 года, когда Ленинград уже голодал, через Ладожское озеро по льду проложили дорогу и по ней возили в Ленинград продовольствие, а из Ленинграда – эвакуированных. Дорогу бомбила немецкая авиация, и обстреливала артиллерия. Папина рота стояла на льду и отражала воздушные налеты.

Грузовики по этой дороге ездили с открытыми дверьми, чтобы водитель успел выскочить, если заедет в полынью или пробойну во льду. Одним из этих водителей, как потом выяснилось, был будущий отец моей будущей жены Михаил Львович Сапожников (она родилась уже после войны).

В зенитных частях служили во множестве мобилизованные женщины. Собственно, это был общий порядок, в Вермахте было то же самое.

В какой-то момент одна из этих женщин, как говорится, проявила инициативу и вступила с папой в связь. Мама мне потом

говорила, что эта женщина в гражданской жизни работала в булочной, продавала хлеб, немного его таскала и при этом спасала от голодной смерти всю семью. Ей позарез необходимо было забеременеть и демобилизоваться. Я-то допускаю, что этими причинами дело возможно не ограничивалось. В любом случае, затея у этой Морковкиной удалась, она забеременела и демобилизовалась. Так у меня в начале 1945 года появилась еще одна единокровная сестра, Алла, о которой я долго не подозревал. Мама была очень возмущена. Мне кажется, она узнала об этом только после войны. Сначала она хотела развестись, но потом махнула рукой и смирилась с действительностью. Так или иначе, у нее был муж, а у меня живой отец, причем с обеими руками и ногами. Не так часто это было в то время. Папе удалось демобилизоваться только в июле 1946 года, мне уже было восемь лет, и я его совершенно не помнил. Один раз во время войны он приезжал в отпуск на неделю, где-то зимой 1944 года. Привез мне большую немецкую пластмассовую коробку от пороха, очень практичную вещь, и сказки Гауфа, которые подобрал где-то в разгромленных окрестностях Ленинграда. Некоторое время он преподавал математику в военном училище, но вскоре почувствовал, что уже больше не может выдерживать эти строевые порядки, так они ему надоели. Он ушел в обычную среднюю школу. Потом он еще долго ходил в шинели и гимнастерке с орденскими планками, подпоясанной командирским ремнем. Так ходило большинство демобилизованных.

Сначала это была школа №665, потом школа №12. Даже тридцать лет после его смерти ученики еще его помнили и писали в Интернете, какой он был замечательный учитель, как он их научил не только математике, но и уменью логически мыслить. Среди его учеников были художник Борис Жутовский, писатель Юлиан Семенов, поэт Сергей Чудаков. Как я понимаю, он хотел получить звание «Заслуженный учитель РСФСР», но это не последовало – он иногда ставил заслуженные двойки лентяям, иначе не умел. Как-то он на это пожаловался дома. В школе он всегда был глав-

ным участником и аккомпаниатором учительских капустников. В общем, что бы ни случилось, у него всегда было хорошее настроение. Как-то раз, когда папы не было дома, какие-то родители принесли ему в подарок хрустальную вазу. Причем это было до экзаменов, а не после. На свою беду я ее принял. Папа вышел из себя и орал на меня полчаса, хотя откуда я мог знать, что принимать не надо было. Мне было лет 12. Принесли и принесли. Вазу вместе с гравированной надписью он отнес в учительскую, там она и стояла. Мы жили, конечно, бедно, но дружно, и никому не завидовали. В 1949 году родилась моя сестра Нина. Жили вчетвером в комнате 12 квадратных метров, бывшей маминной детской. Потом дедушка Израиль Поляков, мамин отец, с нами поменялся, и мы переехали в его комнату, которая раньше была столовой, а он отгородил себе небольшой кабинет для занятий и приема больших. У нас стало уже целых 20 метров. После смерти бабушки в его комнату стали заселять временных очередников – дворников, милиционеров, прорабов. Квартира на Большой Молчановке превратилась в проходной двор. Родители собрали, сколько было денег, и купили небольшую кооперативную квартиру около метро Юго-Западная. Тогда там вокруг было чистое поле. При этом нашу комнату надо было сдать. Я стал папе говорить, что это глупо, комнату надо оставить сестре Нине, которой уже был 21 год. Он сходил в райисполком, и там на него накричали, что это постыдное желание, когда вокруг люди живут в подвалах в ужасных условиях. Он пришел оттуда совершенно убитый. Ясно, что эти хлопоты были выше его сил. С трудом я его убедил, что это обычные бессовестные райисполкомовские штуки, что комнату отдавать нельзя, всему есть предел, в том числе непрактичности. К счастью, нашелся районный архитектор, отец его бывшего ученика, который дал разрешение на перепланировку. Перегородку в комнате перенесли, и Нине оставили 12 метров. Сама же комната досталась, конечно, не жильцам подвалов, а домработнице посла в Кении, которая до этого жила в центре в пятикомнатной квартире посла вдвоем с его дочерью. Эту пожилую женщину, отъявленную скандалистку, мы прозвали «Черная Африка».

Папа никогда не жаловался на жизнь, но у меня было ощущение, что, в общем, он не слишком доволен своими достижениями. Наверно, из-за этого ощущения я старался поскорее защитить диссертацию и вообще как-то продвинуться в научной карьере.

Незадолго до смерти он сочинил очень приятную польку, которую я записал на магнитофон и теперь иногда слушаю. Он умер без всяких жалоб в августе 1983 года и перед смертью вспоминал, какая была замечательная железная дорога в гимназии в Ставрополе.

ЛИПА

*Пойди, надень цветную кофту,
Все сразу станет интересней,
И можно бить буржуям морду,
А можно мир подбросить песней...*

*Но наступала революция,
И перестраивались сны,
И безмятежное, безусое
Влезало облако в штаны.*

*Поэт ходил, поэт бродил,
Поэт переходил на ямб,
Литературу городил
И воспевал свои края,*

*Потом не высидел в седле
И молча в мир иной ушел.
Поэтам вечно на земле
Чего-то слишком хорошо.*

Это нехитрое стихотворение я сочинил в 1955 году, когда учился на первом курсе мехмата МГУ. Разные стихи нравятся разным людям (если вообще нравятся кому-нибудь), но как раз у этого стихотворения был постоянный и верный любитель – Липа Смоляр. Всякий раз, как мы встречались, он поднимал руку, как Ленин на броневике, и провозглашал: «Пойди, надень цветную кофту!»

Мы познакомились на курсах яхтенных рулевых в спортклубе МГУ где-то в начале 1956 года. Вероятно, это было в конце февраля, после того как начался весенний семестр и нам прочли закрытый доклад Хрущева про ужасные темные подвиги Сталина.

Липа окончил университет в Вильнюсе, пару лет проработал в школе, а в 1955 году приехал в Москву и поступил в аспирантуру к Мих. Мих. Постникову (выпуск мехмата 1945 года), который был яркой звездой мехмата, освоил новые науки (алгебраическую и дифференциальную топологии) и стал растить плеяду блестящих математиков – самым знаменитым стал мой однокурсник Сергей Новиков. Оказавшись на самом острие научных прорывов, Липа чувствовал себя несколько неуверенно. Насколько я помню, он не написал никаких топологических работ, но сдал все экзамены, прошел зверские мехматские аспирантские отчеты и окончил аспирантуру, не представив диссертации.

Впрочем, ничего такого особенного в этом не было. У Постникова в это время были другие заботы. Он неожиданно перестал работать, т.е. перестал производить результаты, как будто в нем вдруг кончился завод, и пружина сломалась. Все на него смотрели сочувственно, как на тяжело больного, ведь это могло случиться с каждым и каждую минуту. Сережа Новиков о нем пишет: «Я изучал топологию в семинаре Постникова, начиная с 1956 г. Он был очень компетентен в этой области тогда, но буквально через два года мы поняли, что Постников (которому было всего 30 лет) – уже в прошлом как блестящий ученый».

В таком же положении, десять лет спустя, я наблюдал на квартире у внучатой племянницы Станиславского, Лели Алексеевой, знаменитого математика Киру Ситникова. Кира был прославлен своими работами по классической проблеме захвата в задаче трех тел. Один из аспектов этой проблемы – ответ на вопрос: может ли Земля столкнуться с большой кометой? Проблемой на протяжении веков занимались многие знаменитые математики, в том числе Л. Эйлер, Ж. Лагранж, К. Вейерштрасс, А. Пуанкаре, А. Колмогоров, О. Шмидт, В. Алексеев. Кира был очень симпатичный человек, он работал в Математическом институте им. Стеклова, ничего там не делал и раз в неделю ездил к маме в Ярославль пообедать. Репутация у него была легендарная. Как-то на аттестации в институте у него все же спросили: а где результаты? Кира хладнокровно отвечал, что человек же не машина. Открытия не делаются каждый квартал. Комиссии осталось утешиться. Постников тоже не подавал вида, что с ним что-то не так, ходил бодро и весело и всем рассказывал о работах шлиссельбургского узника Николая Морозова, о его пятитомном труде, где астрономические наблюдения объясняли необходимость ревизии истории, так что все должно было сжаться, наложиться одно на другое и, если не ошибаюсь, Иван Грозный идентифицировался с Александром Македонским. Фоменко появился гораздо позже и тоже из той же среды – и как тополог, и как лжеисторик. Если не ошибаюсь, малодоступный труд Морозова Постников обнаружил у давних знакомых моих родителей, Сережи Стебакова и Любы Шохат (выпуск мехмата 1937 года). Они Постникова обожали и, что называется, с ним носились, всем рассказывая, что Постников – то, да Постников – се. Мне кажется, Постникову нравилась эта атмосфера, и он почти постоянно проводил вечера у них на квартире в Староконошенном переулке. Люба и Сережа после окончания мехмата три года преподавали разную математику в Бухарском педагогическом институте (основан в 1930 году и существует до сих пор). Из Бухары они привезли коллекцию фантастических керамических ваз, которая заполнила почти все

пространство в их небольшой квартире. Сережа Стебаков любил сказать что-нибудь парадоксальное, поставить под сомнение вечные моральные принципы, рассказать сомнительный анекдот. Моя мама его недолюбливала и опасалась дурного влияния на папу. Про бухарскую экспедицию она мне говорила, что Сережа просто сбежал в Бухару потому, что испугался бывшего Любиного мужа, который не смирился с разводом и обещал разобраться.

Так вот, Липа. Спустя некоторое время после знакомства, я его спросил: «Послушай, что это за имя, Липа? Это такое сокращение?» Он нехотя ответил:

«Да нет, есть такое имя». Через некоторое время он решил говорить, особенно женщинам, что его полное имя Ипполит – и так представлялся при знакомстве.

Мне Липа импонировал своим добродушием и легким нравом. К своим девятнадцати годам я уже повидал тяжелых ипохондриков, маниакально-депрессивных психопатов и некоторое количество подонков. Я предпочитал бы общаться с кем-нибудь без очевидных хронических проблем с головным мозгом.

У Липы была располагающая внешность, классически правильные черты лица и гордая лысина, окаймленная длинными черными волосами. Он постоянно улыбался немного застенчивой улыбкой – и очень нравился университетским и другим женщинам. Как-то он мне рассказал, что в одной компании познакомился и одержал победу над легендарной актрисой Э. – и вполне возможно, не врал. Ну, насчет Э. у меня были все же сомнения, а вот женщину, которая торговала в книжном ларьке в зоне «В», он точно обработал. Несколько раз я видел, как он с ней разговаривал у ее ларька, а потом она стала его провожать беспокойным взглядом. Я его спросил, как эта операция, и он ответил: «Ну, как тебе сказать? В общем, нормально».

Вел он себя со всеми благожелательно и очень вежливо, но казалось, что это член королевской фамилии любезно и заинте-

ресованно беседует и демонстрирует безукоризненные манеры. Притом, что Липа, подобно большинству других аспирантов, был в полном смысле голь перекатная.

В его большой аспирантской комнате на 15-м этаже вечно сидели соседи и гости. Из них я помню астронома Эрика Дибая, который потом стал директором университетской обсерватории в Крыму, а в то время был аспирантом и играл на саксофоне. В этом качестве он снимался вместе с оркестром в фильме Рязанова «Карнавальная ночь». Он тоже был очень приятным человеком, немного молчаливым. Вот что о нем говорится в справочнике астрономического института им. Штернберга (ГАИШ):

«ДИБАЙ Эрнст Апушевич (3.08.1931, Казань – 11.11.1983, Москва). Астроном, известный астрофизик. Отец Апуш Ахмадевич юрист, знаток музыки и восточных языков, участник ВОВ. Мать Хамдия Гатовна врач и организатор медицины.

Д. закончил в Казани Образцовую школу № 19 им. Белинского (1949). В школе стал астрономом-любителем. Достиг высокого мастерства в музыке (саксофон). После школы поступил в Казанский ун-т (каф. астрономии физмата). Закончил его с отличием в 1954 и был направлен в аспирантуру МГУ на каф. астрофизики мехмата к проф. Д.Я. Мартынову. В начале 1958 защитил канд. дисс. «Некоторые вопросы эволюции межзвездной среды». В астрономии Д. сочетал талант виртуозного наблюдателя, глубокого теоретика, конструктора астрономических приборов, а также организатора научного процесса. В 1961 – 1977 руководил Крымской наблюдательной станцией (обсерваторией) ГАИШ в пос. Научном. Возглавляемая им обсерватория шла впереди многих, существенно лучше оснащенных ...

Имя Э.А. Дибая присвоено Крымской станции (ныне Лаборатории) ГАИШ МГУ и малой планете № 2385.»

Как-то Липа уехал на майские праздники к себе в Вильнюс, а мне оставил ключ от своего блока. Перед этим я был на какой-то

вечеринке в любительской киностудии при Парке культуры им. Горького. Туда меня и Толю Жаботинского привел биолог Женя Ефимов, наш школьный товарищ. На этой вечеринке девицы выглядели как персонажи из фильма ужасов. Где их только разыскали в таком количестве. После пары стаканов спиртного мне показалось, что одна из них все-таки ничего, и я взял у нее телефон. Это была ошибка. Пить надо меньше, вот что я вам скажу. Когда я привел ее на вечер в МГУ, стало ясно, что она совершенно не годна к употреблению, к тому же не могла связать двух слов, была малоподвижна, инертна, обладала незначительным словарным запасом. Все, что она могла делать, – равнодушно и молча смотреть по сторонам. Почему я ее привел – не было понятно ни мне, ни ей. Мы немного потолкались в толпе танцующих, и я ее отвел в Липину комнату. И что дальше? Судите сами, ведь нельзя же ни с того ни с сего вдруг предложить раздеться малознакомому человеку. Тем более, не совсем понятно, с какой стати.

Когда весной 1958 года Липа сдавал свой последний отчет, у меня начались неприятности. Зимой я написал несколько статей в факультетскую стенгазету, где выражал свои независимые суждения по разным вопросам. Хотя я их подписывал не один, а с безупречными соавторами, как мне посоветовали знающие люди, партбюро пришло в бешенство и, как говорил Зощенко, затаило некоторое хамство. В весеннюю сессию настала возможность со мной посчитаться. В середине сессии у меня образовались два несданных экзамена, и инспектор курса, гнусная особа С., тут же представила меня к отчислению, хотя это было против правил. Мне позвонили и сообщили, что приказ уже висит на доске объявлений. Это была неожиданная катастрофа. Я впал в отчаянье и пошел жаловаться на жизнь своему другу, биологу, поэту и композитору Гену Шангину. Он жил в доме писателей на Лаврушенском. По дороге я попал под ливень и насквозь промок. Генина жена, Ляля Хаджи-Мурат, велела снять брюки и стала их гладить утюгом, чтобы немного высушить, а я, сидя в трусах на кухне, стал звонить своему научному руководителю, членкору Акаде-

мии наук, Николаю Гурьевичу Четаеву. Мне передавали его хвалебные отзывы о моей курсовой работе. Четаев мне велел пойти на прием к декану. Я ему сказал, что декан уже подписал приказ, но Четаев повторил: «А вы все-таки к нему пойдите». Не знаю, звонил ли Четаев декану Слезкину, но тот действительно меня принял, приказ отменил и дал досдать сессию. Так что пронесло.

В июне Липа окончил аспирантуру и начал сражение за проникновение в Москву. Войнович потом писал, что всякая эмиграция не сахар, но эмиграция в Москву – наверное, самая тяжелая. Какие-то подробности приводит в своих мемуарах Липин приятель Арон Каценэнленбоген, выходец из Самарканда. Арон, видный советский экономист, профессор, зав. отделом ЦЭМИ и идеолог системы СОФЭ (оптимальное функционирование экономики), мог сравнивать – он потом эмигрировал еще раз, на этот раз приземлился в престижном Пенсильванском университете, где стал преподавать разную ахирию (теорию систем). Как писал Бродский: «Земля везде кругла, рекомендую США».

Я не знаю всех перипетий Липиных маневров, ночевал ли он на вокзале или снял развалюху на окраине, но ему удалось устроиться на завод малолитражных автомобилей и, видимо, перекачаться там в общежитии для специалистов. На этом заводе проводил исследования Арон Каценэнленбоген – собственно, он Липу и устроил. На заводе Липа занимался автоматизацией – и разобрался с календарным планированием. Иметь представление о конкретных процессах и реальных проблемах – очень полезно. На этом материале он вскоре защитился, и его взяли на кафедру «Применение математики и ЭВМ в планировании» (потом ее переименовали в кафедру экономической кибернетики) института им. Плеханова. Заведовал кафедрой Иван Герасимович Попов – по общим отзывам, очень приличный человек. На кафедре Липа безбедно просуществовал в качестве доцента много лет, пока времена не переменялись. Попов умер, а новое руководство открыло сезон улучшения национального состава преподавательского

коллектива. Как известно, все советские национальности равны, но некоторые все же хуже других, а быть евреем – вообще просто наглость. Одним словом, Липу не утвердили на очередном конкурсе, несмотря на представленную докторскую диссертацию и несколько качественных монографий.

Делать нечего, Липе пришлось стартовать еще раз, и теперь он живет в Сан-Франциско. Ему уже за восемьдесят.

В свой благополучный период Липа постепенно оброс движимым и недвижимым имуществом, купил автомашину «Москвич» и, к моему удивлению, купил кооперативную квартиру в одном из небоскребов на Калининском проспекте. Сам я жил в кооперативе на Артековской улице – как мне казалось, у черта на куличках. По его словам, жить в престижном небоскребе было довольно неудобно, лифты вечно ломались, а здание от ветра заметно раскачивалось. Подходящей женщины для формирования семьи, ячейки общества, не подвертывалось, а те, что подвертывались, усиленно пытались с Липой оформить отношения, хотя для этого как раз не подходили. Это создавало Липе постоянные проблемы. Как-то он меня спросил, нет ли у меня каких-либо подходящих знакомых или общества, где их можно встретить. Я его отвез в гости к своему старому другу, поэту и художнику, Мите Авалиани. Там как раз в тот вечер собралась большая компания: балетный критик Наталья Чернова, профессиональная красавица Ира Маслова и еще разные занятные люди.

К своему удивлению, я увидел Ю., старую знакомую из общежития мехмата в зоне «В». Я не встречал ее десять лет. Она там жила в одном блоке с женой моего друга Ж., и я часто к ней заходил «потрепаться». Блок – это две комнаты с общими удобствами. Ю. была меня младше года на четыре, что в молодости очень чувствуется. Я слышал, что она потом вышла замуж за успешного молодого таджикского театрального режиссера из зажиточ-

ной байской и культурно-административной семьи, пожила в Душанбе, развелась, а теперь осматривалась среди московской богемы. Работала она в ЦАГИ и, соответственно, жила в Жуковском. Москва, как говорится, большая деревня, слухи разносятся как бесплатные рекламные объявления. Это постоянная московская особенность. «Яворская не живет с Коршем, но это правда, что он ее ревнует», – писал Чехов Суворину в 1894 году. Мне уже тоже сообщили, что у Ю. имеются достижения в ее светской жизни: она переспала с Эрнстом Неизвестным. Как раз то, что мне было так необходимо знать. В свое время она была наивным и трогательным юным созданием, но, очевидно, это уже прошло.

Общество непринужденно развлекалось. Изысканные дамы пили водку и перемещались от стола к окну и обратно. Чернова проповедовала что-то про балет, кто-то танцевал, Липа смотрел направо и налево, но не видел ничего подходящего. Вдруг он тронул меня за плечо и тихо сказал: «Посмотри на эту Ю.» – «А что такое?» – «Она на тебя смотрит». Я взглянул и понял, что он прав – она смотрела. «Ну что ж, – сказал я себе, – раз такое дело...» Я предложил Ю. проводить ее домой, она согласилась. По дороге стало ясно, что лучше подходит мой дом, даром, что он на другом конце Москвы.

«Ты не хочешь что-нибудь сказать?» – спросила она – уже лежа. Да нет, ничего особенного мне сказать не хотелось. В отличие от далекого прошлого, чего там особенно разговаривать взрослым людям. «Ты сама знаешь, что всегда была чертовски мила», – это, вероятно, было значительно меньше, чем ей хотелось услышать. Ну, чем богаты... . За окном был серый зимний рассвет, среди снежных звезд неслышно летела луна, до весны еще было далеко, и я подумал, что из этого романа, скорее всего, ничего продолжительного не получится. Так оно и вышло.

В следующий раз я встретил Липу в странной обстановке: он стоял неподалеку от старого Арбатского метро и оживленно разговаривал с Сережей Чудаковым. При виде меня оба они не выразили никакого удовольствия. Это было необычно: с Чудаковым мы были старые знакомые, обычно он бросал все дела и устремлялся ко мне, как рыба на нерест, – так ему хотелось выговориться. Он постоянно фонтанировал. По-видимому, у него в голове все время звучала «странная, чудная музыка, слышная только ему». Липа тоже всегда был мне рад – но не в этом случае. Я пожал плечами и пошел по своим делам. Чудаков, проклятый поэт и энергичный внештатный журналист на подхвате, учился в свое время математике в школе у моего отца. Я совершенно в то время не знал его чудных стихов и, в основном, прочел их уже в 2008 году, когда Иван Ахметьев составил и издал его сборник «Колер локаль».

*Колесницы пошли на последний заезд,
Зевс не выдаст, товарищ Буденный не съест,
Только женщина сжала программку в руке
И качнула ногою в прозрачном чулке...*

Несомненно, он был гений, но гении толпами бродили по тогдашней Москве.

Как писал Вильям Сароян: «Однажды в пивной Иззи ко мне подошел гений в вельветовых штанах».

Что общего у Сережи было с Липой? Липа не коллекционировал поэзию и был далек от литературных кругов. Это было загадочно. О чем им так оживленно беседовать? При встрече я спросил Липу напрямую. Липа попробовал уклониться от этого разговора, но вскоре бросил валять дурака и все объяснил: «Чудаков за деньги поставяет девиц, и вот мы с ним спорили о качестве поставки. Я говорил, что качество совершенно не годится, а он настаивал, что в девице масса достоинств и я ничего не понимаю».

Ни фига себе! Так значит, Чудаков докатился до того, что сводничает за деньги... Собственно, я не имел понятия, за счет чего

он живет, но такого оборота никак не предполагал. Ну и ну! Потом выяснилось, что среди литературной общественности были вполне благонамеренные и расово полноценные люди, достаточно полно осведомленные об этой стороне деятельности Чудакова и даже принимавшие в ней участие. См. повесть О. Михайлова «Пляска на помойке».

Последним эпизодом Липиной советской жизни было выселение его из родной кооперативной квартиры в никуда. Липа связался, в конце концов, со студенткой, что именно преподавателям специально не рекомендуется. Хотя она была не из его института, а вроде бы изучала в МГУ философию. Я ее никогда не видел. Не в силах воздействовать на Липу чисто эмоционально, она родила ему ребенка (женского пола) и вселилась к нему на Калининский проспект. Там она и осталась на 21-м этаже, когда пойманный в капкан Липа выселился и снял где-то комнату. Последовали судебные разбирательства, которые Липа по гуманным советским законам, естественно, проиграл. Напрасно различные друзья ходили туда лжесвидетельствовать. Ко мне Липа не обращался, хотя я с чистой совестью мог подтвердить, что никогда эту философскую женщину в его квартире не видел. Но и тут Липа не жаловался, а воспринимал все происходящее как драму из жизни посторонних лиц, что-то вроде пьесы Чехова «Три сестры».

Впрочем, Чехов был гораздо жестче. В своих письмах он писал: «Берешь девицу за плечи, наподдаешь ей под коленки, и вот вам «сальто мортале». Море удовольствий».

Липе это было совершенно чуждо.

В Сан-Франциско его никто не знает – я спрашивал.

ПО ЛЕСТНИЦЕ НАВЕРХ

Я уехал в Израиль в середине 1991 года. Как это называется, совершил алию, восхождение. В 1990 году выезд за границу был, в общем, разрешен, в марте я заказал себе вызов из Израиля и в июле получил по почте сразу два. Ситуация с выездом начиная с 1989 года существенно поменялась. Еще совсем недавно была популярной грустная шутка, что на Белорусском вокзале радио объявляет: «Евреи, отъезжающие в Израиль! Ваш поезд на Магадан отходит с третьего пути».

Я приближался к месту своего назначения. Вокруг меня простирались поля, пересеченные оврагами... На самом деле приближался я не один – весь наш ржавый бронепоезд, раскачиваясь на стыках, приближался к тому мосту, который уже был разрушен. Еще чуть-чуть, и он рухнет так, что и следа будет не видно. Недаром Горбачев все время повторял слово «углубить».

Информированные товарищи из ЦК уже выпрыгивали на ходу. Появились промежуточные деятели смутного времени. Нина Андреева не хотела, туды ее в качель, поступаться принципами. Кто-то устроил темную историю с продажей новых танков, как лома металла, через Новороссийский порт. Возник какой-то Иван Полозков с идеей твердой компартии без компромиссов и предателей. Шел боевой 1990-й.

На станции Псков

Иван Полозков

Уже установил свой микроскоп.

Это я напевал себе на мотив «Барон фон дер Пшик...»

Возле Старого Арбата, в переулке, человек пятьдесят слушали энергичного оратора – некто Жириновский пропагандировал новую партию, либерально-демократическую.

Мы с женой Лилей записались на курсы иврита и вечерами ездили в какую-то школу, где две подруги, Рути и Леа из киббуца Хулата, преподавали иврит на иврите. Выучить двадцать две буквы алфавита казалось немыслимым. Гласных или нет, или их две на одну букву, по две буквы на одну согласную, очень странно. Если слова не знаешь заранее, то никогда не прочтешь. Недаром ивритские газеты упоминают известного русского поэта Фошкина: написание не различает «п» и «ф», «у» и «о». Рути и Леа совершенно не понимали, где находятся, ходили по Москве ночью без сопровождения, громко говоря на иврите. Как ни странно, с ними ничего не случилось. Я приобрел самоучитель иврита. Все тексты для чтения были основаны на романтической истории отношений американского туриста и служащей туристического агентства. Они ездили по стране, ходили по музеям, посещали рестораны, купались и загорали на пляжах. В конце она сообщала, что собирается приехать учиться в Штаты, стало быть отношения, возможно, имеют перспективы счастливого продолжения. Интересно, что в Израиле я купил другой самоучитель, где был совсем другой текст. Бедный Иоси встает в пять часов утра и собирается на работу. Еще темно, и он старается не шуметь, чтобы не разбудить семью. Весь день он тяжело работает и возвращается поздно ночью, когда семья уже спит.

Иоси тихо раздевается и ложится спать, стараясь их не разбудить. И так день за днем.

Газета «Московский комсомолец» печатала советы по личной безопасности: «Если вы видите, что собирается толпа, вооруженная арматурой и велосипедными цепями, не останавливайтесь, чтобы посмотреть, что будет – это и без того ясно. Не убыстряя шага, дойдите до ближайшего поворота и быстро уходите».

Я все чаще вспоминал рассказы мамы, которая в шестилетнем возрасте пережила октябрьский переворот. Тогда московские большевики во главе с Александром Аросевым стреляли по Кремлю из пушек, и снаряды перелетали через нашу Большую Молчановку. Аросев, видный советский дипломат и пролетар-

ский писатель, был закадычным другом молодости Вячеслава Скрябина (Молотова). Когда в 1938 году Аросеву удалось дозвониться до Молотова, тот совершил исключительный акт мужества во имя старой дружбы: на вопрос «что мне делать» ясно ответил: «Пристраивай детей». Аросев успел пристроить у родственников дочь Олю, будущую актрису, и она не попала в детский дом и сохранила фамилию. Сам он вскоре был приговорен к расстрелу. Дело, ему знакомое: в 1920 году он был председателем Верховного Ревтрибунала на Украине. В тридцатые годы Аросев возглавлял ВОКС, общество культурной связи с заграницей, и привез в СССР известного французского левого писателя Андре Жид, будущего нобелевского лауреата. Андре Жид ездил по стране, встречался со Сталиным, причем Аросев был на этой встрече переводчиком. По возвращении Жид напечатал о своей поездке книжку «Retour de l'URSS,» где, прямо сказать, было мало комплиментов. Ее расценили как антисоветскую. Когда вскоре потом приехал Лион Фейхтвангер, по Москве пошел стишок:

*Стоит Фейхтвангер у дверей
С довольно странным видом...
Ах, я боюсь, чтоб сей еврей
Не оказался Жидом.*

Так что Аросев за этот прокол мог ожидать воздаяния, которое и последовало.

Между тем появились, как это называли большевики еще с 30-х годов, продовольственные затруднения. С эстрады уже пели на мотив песни «Куда уехал цирк?»: «Куда девался сыр? Он был еще вчера...» Население по многолетней привычке стало скупать соль, спички, крупу, мануфактуру. К моим друзьям проездом из Душанбе в Израиль приехали знакомые и привезли примерно пять килограммов баранины на плов. За дружескими объятиями никто не заметил, куда делась местная собака Эльса. Когда ее

нашли, выяснилось, что баранина исчезла, а собака как-то раздулась и норовит заснуть сытым сном.

Зато, по закону сохранения Ломоносова – Лавуазье, стало больше демократии. Заседали советы трудовых коллективов, те самые югославского типа рабочие советы, за разговоры о которых еще недавно можно было уехать в мордовские лагеря.

Ну, хорошо, думал я, а что же все эти директора, которым и принадлежит реальная власть и которые делают, что хотят, они что же, так просто эту власть отдадут? Так же не бывает. В недалеком будущем жизнь ответила на эти вопросы.

В июле у меня уже был вызов из Израиля, я отправился в отдел кадров, и мне без вопросов выдали характеристику. Директор только сказал: «Ну, так я и знал! Но вы спокойно работайте, ведь у вас еще есть время?» Времени еще несколько оставалось, пока ОВИР рассматривал дело. У Лили все было по-другому, она сказала, что в Телерадиовещании, где она работала, надо сначала уволиться, а уже потом приходить за справками, и то при этом могут пристрелить. Попала она на эту работу тоже не так просто. Мой старый приятель Юра С., с которым мы еще ходили в детский сад Минугля, году в 1987 ко мне пришел и попросил помочь с докторской диссертацией. По его представлениям, там надо было решить математическую проблему. Я ему сказал, что решить-то можно, но много мороки и времени, хотелось бы, чтобы он тоже для меня что-нибудь сделал. Что? К примеру, устроить жену на работу. Это было для нас неразрешимой проблемой. Перед этим Лилю знакомые пытались устроить в журнал «Семья и школа». Там сначала решили, что она прекрасно подходит, но, взглянув в анкету, резко изменили тон и сказали: «Вам у нас будет неинтересно». Юра только спросил: «Телерадиовещание годится? Место редактора в архиве?» – «Годится». Через два дня Лиля была в управлении кадров в Останкине, и ей разве что не расстелили красный ковер прямо от лифта.

С. был человеком слова, особенно, когда ему что-нибудь было остро нужно.

В начале сентября Лиля уже уволилась. Мы подали бумаги.

События неслись галопом. Сразу после этого топором зарубили отца Александра Меня. Я мало интересовался христианскими течениями, но запомнил Меня по фильму «Любовь, любовь». Там снимались интервью с разными людьми на тему любви, и только один из них говорил очень разумные вещи. Мне объяснили, что это отец Александр Мень. Вот теперь его убили. Кстати, это убийство так и не было раскрыто.

Появилась программа «500 дней». Григорий Явлинский и Станислав Шаталин ее активно пропагандировали. Я ее внимательно прочитал. Где-то ближе к концу текста, между делом, скороговоркой говорилось, что в случае неблагоприятной конъюнктуры сбережения населения будут временно заморожены. Этот пункт заслуживал самого пристального внимания, хотя у меня никаких серьезных сбережений не было.

Цены уже не ползли, а прыгали вверх. Говорили, что специалисты Комитета по ценам ходят на рынок в Ташкенте и ориентируются на тамошние цены. Официальный курс доллара вдруг стал тридцать рублей, даже выше, чем на черном рынке, вместо шести, как было долгое время.

Капиталистические отношения нагло выходили наружу из недр социализма.

Один из популярных актеров Театра на Таганке как-то в центре техобслуживания подошел к автомеханику и посулил ему две бутылки коньяка, если тот быстро починит машину. Гегемон, стоя в яме, поднял голову в пыжиковой шапке и, конечно, узнав народного любимца, ответил ему: «А если ты от меня сейчас отстанешь, я тебе ванну из коньяка сделаю!»

Мой заместитель Леня Сандлер уже уволился и заканчивал свои приготовления к отъезду. На его место я взял своего старо-

го товарища Юру М., который как раз остался не у дел. Юра был очень славный человек, работающий и знающий. Он был из офицерской семьи, как будто прямой потомок капитана Миронова из «Капитанской дочки». Я его осторожно предупредил, что, возможно, скоро покину свой пост по семейным обстоятельствам и чтобы он присматривался к системе вообще, чтобы потом меня заменить. Это вообще-то было проще сказать, чем сделать. Система быстро менялась, появились какие-то новые кооперативы. Нагорный Карабах и Эстония уже перестали присылать статистическую отчетность.

В нашем министерстве, Центросоюзе, шло зверское сокращение. Заместители председателя отправились в Швецию и Израиль перенимать опыт. Всемогущие чиновники ходили по коридорам, как сомнамбулы, и не смотрели по сторонам. Пока я еще работал, мне приходилось закрывать план за третий квартал, потом за четвертый квартал, вести, подобно маршалу Михаилу Нею, арьергардные бои в российских снегах. Мне надо было сдать две подсистемы АСУ (автоматизированной системы управления) центрального аппарата. Одну принимал начальник отдела писем – симпатичный трудяга, вежливый и аккуратный службист. С ним не было никаких проблем, тем более, все работало, как часы. Другую должен был принять начальник одного из отделов – вздорное красномордое хамло, про которого мне объяснили, что раньше он работал в органах в Средней Азии, но подцепил дурную болезнь, влип в какие-то грязные скандалы, вылетел со своего места, однако приземлился в центральном аппарате Центросоюза. Как водится, в аппарате было известно все про всех. Раньше никто с ним не связывался, но времена изменились. Он попытался в новых условиях по старой привычке начать валять дурака и не подписывал акт приемки автоматизированной подсистемы. Очевидно, он полагал, что я буду валяться в ногах и умолять. Что же, я пошел к его начальнику и сказал: «Тут, я полагаю, что у вас проблемы с сокращением, так вот, такой-то отдел со всеми его функциями

мой отдел может взять на себя. У меня обычный инженер и ЭВМ смогут все это делать. Так что, если хотите, – вот вам реальное сокращение численности». Немного я с ним раньше был знаком. Он мне отвечал: «Мы это, Илья Вениаминович, обдумаем, что вы предлагаете, обсудим. Это очень интересно. А это что там у вас? Акт? Давайте его сюда, я его тут же подпишу. Всего вам наилучшего, заходите». Как говорил Гоголь устами Чичикова, «знание людей есть вторая наука.»

Между тем из Израиля приходили противоречивые слухи, что вроде бы приехавшие ученые метут улицы. Впоследствии выяснилось, что это явление частично имело место, соответствующая должность в народе называлась «начальник метлы».

В разгар перестройки были кое-кем предприняты усилия, чтобы закрыть евреям дорогу в Америку. В самом начале 1990-го был закрыт промежуточный лагерь в Вене, в Америку стали пускать только к близким родственникам. Яков Кедми (Казаков), начальник организации «Натив», потом объявил, что это целиком его заслуга. Надо сказать, что ожидаемой благодарности населения он не дождался.

На всякий случай я ходил к американскому посольству на улицу Чайковского и полюбовался на длинную очередь под дождем. Какие-то люди торговали анкетами в Южную Африку. Все это выглядело довольно тоскливо. От этого нереализованного проекта осталась пара стихотворений:

*Свои мы заслужили почести,
В Ижорах стынут небеса,
Пойдем вперед и встанем в очередь,
Чтоб посмотреть на чудеса...
Я б не сказал, чтоб были неженки-
Такая жизнь – не приведи...*

*Ну что ж, теперь мы будем беженцы,
Протянем руку впереди...*

И второе:

*Лужайки Принстона, бассейны в штате Гемпшир,
Натянуты штаны американских женщин –
Народовластия достойные плоды...
Я думаю пора задать нам лататы.*

Еще более печальная картина наблюдалась около посольства ФРГ.

Стояла длинная очередь, а при входе немцы проверяли паспорта и профессионально занимались любимым делом: отделяли евреев от неевреев. Исторически у них этот процесс был уже отработан. «Если у вас в паспорте национальность армянин, то почему же вы еврей?» Какой-то здоровый тип снимал эту грустную еврейскую очередь из фотоаппарата. Я позвал добровольцев набить ему морду, но, когда оглянулся, увидел, что за мной никто не пошел. Фотограф все же решил не искушать судьбу и быстро удалился.

В ресторане гостиницы «Салют», неподалеку от нашего дома, произошла перестрелка. Около метро «Юго-Западная» вечерами, как правило, можно было видеть, как семеро били одного. У меня появилось ощущение, что эту жизнь я уже прожил и ничего светлого впереди не просматривается. Как кто-то, не помню кто, сформулировал:

*Товарищ, верь, придет пора
Правопорядка и достатка,
Но до того на наших пятках
Напишут наши номера...*

Итальянская газета «Республика» напечатала статью о том, что Ельцин – алкоголик. Общественность наотрез отказалась воспринимать эти клеветнические провокационные измышления желтой прессы. Ельцин торжественно был избран Председателем Верховного Совета России.

В декабре мы получили из ОВИР’а разрешение. Нужно было закругляться.

Однако ребенок должен был окончить десятый класс. После некоторых гнусных эксцессов мы перевели его из престижной французской школы в школу рабочей молодежи, где, разумеется, уровень был не тот, но дирекция и учителя были очень порядочные люди. Между тем ребенка вызвали в военкомат и заставили пройти призывную комиссию. Со всеми своими болезнями он был признан годным. Я им показал выездную визу. Они сказали: «Ну, там будет видно».

Ходили слухи, что готовится закон о том, чтобы не выпускать юношей, не отслуживших в армии. Действительно, закон этот был принят в июне, но, как оказалось, с отсрочкой ввода в действие на три года. В связи с этим законом произошла скрытая паника, и в июне 1991 года в Израиль выехало раза в три больше семей, чем в среднем за месяц до этого. Или в четыре. Билеты было невозможно достать. Проблемы с ребенком не оставляли никакого времени на размышления. Он получил аттестат зрелости 9 июня, а 11 июня мы уже сидели в поезде «Москва – Варшава».

В том же военкомате закончилась и моя собственная военная карьера офицера запаса: меня сняли с учета и забрали мой военный билет старшего лейтенанта сил ПВО и ЗА (зенитной артиллерии).

В январе началась война в Заливе, иракские ракеты падали на Тель-Авив. Евреи продолжали туда ехать, несмотря на войну. Надо было начать выяснять конкретные вопросы. Я написал письмо известному ученому, который уехал года на три раньше.

Знакомство наше было, в общем, шапочное, хотя я рассчитывал, что он меня должен помнить. Никакой реакции. Впоследствии я выяснил, что он мне тут же ответил, но для верности послал этот ответ оказией. Тот человек, который должен был в Москве его письмо передать, держал его у себя пять месяцев, так что я этого письма так и не увидел. Как я потом понял, надо было обязательно написать американцам, которые в своих статьях ссылались на мои работы, попросить хотя бы прислать рекомендательные письма. Но вообще, готовность обращаться с просьбами к незнакомым людям была мне тогда еще не свойственна.

Премьер-министр Рыжков ушел в отставку. Еще раньше ушел Шеварднадзе. Вокруг Горбачева собиралась какая-то странная компания. Премьером был назначен министр финансов Павлов. Он немедленно устроил панику, объявив ограниченный обмен пятидесяти- и сторублевых купюр. Как будто специально хотел подорвать доверие к рублю. Говорили они на каком-то странном жаргоне, видимо, принятом в комсомольских саунах с девочками. Горбачев все больше напоминал фокусника-неудачника.

Поменялось все политбюро – там уже были какие-то малоизвестные люди из второго или третьего эшелона: Шанин, Биккенин, Ивашко... В народе они были совершенно не известны. Их портреты уже не носили на демонстрациях. Кстати, этого идеолога Наиля Биккенина я немного знал, он нам в университете преподавал какой-то марксизм. Мне он очень не нравился, казался довольно наглым типом. В то время, к общему удивлению, он женился на нашей студентке Юле Суворовой, у которой было много дыхателей ее возраста. Казалось странным, что она сошлась с этим доцентом, который все же был ее лет на десять старше. Может, в нем что-то было, чего нам тогда не было видно.

Горбачев создал Президентский совет – с не совсем ясными функциями. Туда он включил известного писателя Распутина. Этот герой соцтруда, у которого я никогда, признаться, не смог

прочсть ни одной книжки, выступал по ТВ и обличал рок-н-ролл. Он говорил, я сам лично это слышал, что если запустить пластинку в обратную сторону (как это технически он себе представлял?), то будут слышны бесовские заклинания. Ага, сказал я себе, приехали!

Прогрессивные писатели организовали общество «Апрель» и Пен-клуб. Впрочем, черносотенцы тоже почувствовали преимущества свободы. Куняев, Бондаренко, Байгушев и еще кое-кто из литературных бандитов начали с наслаждением считать евреев в первом советском правительстве и ЧК-ГПУ-НКВД. Так до сих пор и считают, во всяком случае, те, кто из них еще жив. Спустя какое-то время к ним присоединился Солженицын, как это ни печально.

Владимир Максимов появился в Москве и выступил с проповедью примирения интеллигенции. Это был глас вопиющего в пустыне. Гораздо большей популярностью пользовался лозунг Владимира Ильича – его все учили и сдавали на экзаменах: «Прежде чем объединяться, надо как следует размежеваться!»

Приехал Наум Коржавин и выступал где-то на «Соколе». Зал был полон. Его вечер вел Андрей Вознесенский. Это был последний раз, когда я видел Андрея. Он мне помахал рукой и спросил: «Как поживаешь?» Я сказал коротко: «Уезжаю». Он кивнул головой. Все было понятно.

Куда доставал мой взгляд, все уезжали. Оставаться было невозможно и глупо, уезжать страшно не хотелось. Немного я себя стал уговаривать.

*Ну, давай, совершим эту акцию,
Наша жизнь переходит в эндишиль,
У дороги стояла акация,
Для себя я уже все решил...*

*Давай, не горюй,
Ступай, откуда шел,
Устрой перекур,
А то излишне напряжен.*

*Ну, давай поплывем, как получится,
Наша жизнь все одно не ахти,
У дороги стояла попутчица,
И телега вдали тарахтит...*

*Давай, не горюй,
Ступай, откуда шел,
Открой свой затвор,
Пока не стал умалишен...*

Исполняется на мотив марша «Прощание славянки».

У всех знакомых я спрашивал, как везти собаку? Наша собака Джеки, русский спаниель, была неотъемлемой частью семьи. В конце концов, один из старых знакомых мне ответил из Израиля: «Что ты все пристаешь со своей собакой? Тут до людей никому дела нет». Впрочем, выяснилось, что надо иметь справку от ветеринарной службы, что у собаки есть прививки, и справку из клуба служебного собаководства, что собака не породистая. Мы позвонили в клуб, и нам сказали, что справка стоит 250 рублей – совсем недавно это были неплохие деньги. «А когда привозить собаку?» «А зачем ее привозить?» – резонно спросила дама из клуба. Интересно, что позднее, в процессе переезда, никто этих справок так и не спросил. Наша прелестная Джеки действительно была не слишком породистая, не имела ни медалей, ни родословной, но в Израиле мы потом встречали потрясающих собак, афганских борзых, серебристых пуделей, лаек, бобтейлов, догов и все такое. Видимо, все они имели справки о том, что непородистые.

Мой детсадовский друг Юра С. уже работал зам. председателя райисполкома. Он мне позвонил и обещал дать какие-то телефоны своих знакомых в Израиле, которые занимались большим бизнесом и должны помочь с работой. «Кто же так едет в никуда? – разумно спрашивал Юра – Надо же с кем-нибудь договориться». В свою очередь, он попросил подписать заявку на учреждение организации «Клуб содействия ЮНЕСКО». Среди других подписей я обнаружил большинство нашей группы из детского сада Министерства угля.

С большим удивлением я прочел в этой заявке, что клуб должен иметь право создать свой банк. Потом я узнал, что банк действительно был создан, но спустя какое-то время нашлись на него другие любители. На Юру сильно надавили и заставили банк отдать.

Наконец, в середине февраля я уволился. Директор мне сказал: «Ну, поработайте еще хоть две недели».

«Это же ничего не изменит», – отвечал я.

Если после тридцати лет постоянной работы никуда утром не спешить и не бежать, возникает странное ощущение, вроде невесомости.

Впрочем, из покинутого мною отдела тут же раздались крики о помощи.

Я никогда не брался за работу, которую некому делать. Что могут и чего не могут делать мои сотрудники, я отчетливо себе представлял. Если мне такую работу всучивали, я сопротивлялся до последнего. Юра М. такими мелочами не заботился и был готов брать и раздавать, что угодно и кому угодно. Это могло существовать только до первого отчета. А отвечать бы все равно пришлось ему самому. После отчаянных жалоб сотрудников я ему позвонил и попытался объяснить. Юра остался при своем мнении, тут уж я ничего не мог поделать.

Кроме того, у ведущей сотрудницы пропала важная программа, которую ей оставили на хранение и использование. Она соби-

ралась в ужасе пойти и сдать ее дирекции. С трудом я ей втолковал, что жалеть ее никто не будет, получит она тут же по полной программе, мало не покажется. Сам я тем временем разыскал человека, которому попала копия этой пропавшей магнитной ленты. По принципу: сядем и подумаем, кому бы она могла попасть. Ну, вроде бы пронесло. Ясно, что, в случае неудачи, дирекция бы немедленно развернула дело о сионистском вредительстве.

Это мне напоминало обычную историю о людях, ушедших на повышение.

Их немедленно настигали истории из прежнего места обитания. К примеру, стоило Шеварднадзе переехать в Москву, как в Тбилиси посадили в тюрьму его близкого друга, третьего секретаря ЦК Грузии. Предыдущий председатель правления Центросоюза был первым секретарем Белгородской области. Вслед за ним через какое-то время из Белгорода пришли такие материалы, что его не только сняли с поста, но и собирались посадить. С большим трудом он отбил, но должность себе вернуть уже не мог. При этом не всегда играло роль реальное состояние дел, часто важнее было желание и возможность насолить прежнему начальству издалека.

А пока что я занялся разной мелочью. Ходил продавать книги в букинистический. Там царило приятное оживление. Как будто нашли золото на Клондайке. Родная Советская власть не разрешала вывозить книги, напечатанные до 1948 года. Это правило служило единственно обогащению разных жучков, которые крутились около букинистических магазинов.

Еще надо было отстоять очередь и заплатить пошлину за вывозимые картины.

У меня было некоторое количество гравюр Павла Тюриня, замечательная картина маслом Мити Авалиани, несколько литографий Марины Телепневой.

В качестве оплаты за вывоз мне был выдан ордер в сберкассе для взноса на реставрацию церкви Симеона Столпника. Он, воз-

можно, был достойным святым, и все такое, я о нем никогда не слышал, но почему его церковь должны были реставрировать за счет уезжающих евреев? Это когда церковь отделена от государства. Мне это до сих пор не понятно.

Приходили многочисленные близкие и дальние знакомые, чтобы посоветоваться насчет собственного отъезда. Неожиданно пришла бывшая начальница – заместитель директора, с которой отношения на работе были не сказать, чтобы теплые. Оказывается, муж ее был еврей, и она решила уехать в Германию. Она уже побывала в лагере для беженцев под Берлином, и ей там понравилось. Просьба ее ко мне была самая незначительная – засвидетельствовать в синагоге, что я ее знаю как еврейку. На самом деле она была осетинка. Увы, я отказался наотрез. Кстати, об осетинах. В семью моих друзей, где жена была осетинка, приехала ее сестра, известная журналистка из радиостанции «Свобода». В гости подтянулись осетинские интеллигенты, какой-то скульптор, еще кто-то. Оказалось, что они являются осетинскими сепаратистами, борцами за объединение Северной и Южной Осетии. Мне эта идея о независимой Осетии казалась совершенно дикой и фантомной, я глядел на них как на уличных сумасшедших. Как оказалось, именно они и были реалистами: через месяц в Осетии уже стреляли из танков и станковых пулеметов. Мой друг, который подрядился быть переводчиком у группы французских документалистов, лежал под обстрелом пластом в придорожной канаве и молился всем богам всемогущим, будучи, вообще-то, в быту полным атеистом.

У меня оставалась пара статей, за которые я еще не получил в агентстве авторских прав причитающиеся мне чеки для магазина «Березка». Это обычно длилось месяца два. Вдруг я сообразил, что – как иностранец – могу получить живые доллары. Я явился в агентство и сообщил, что уезжаю, показал визу.

Они обрадовались мне как близкому родственнику, разве что не обняли и не расцеловали. Мгновенно был оформлен ордер в

банк, мне объяснили, как туда пройти в обход очереди. Это в первый раз я себя ощутил иностранцем.

По примеру Бродского, мне казалось, что надо по поводу своего отъезда написать прощальное стихотворение. Высказать свое мнение и выразить свои чувства. У Бродского это получилось хорошо: «Мне говорят, что надо уезжать... Когда войдешь на Родине в подъезд, я к берегу пологому причаляю...» Ну, в общем, вот что я сочинил тогда:

*Кто плачет о русских евреях?
Куда отошел Моисей?
Их прах незаметный рассеян
По сырým равнинам Рассей
Великих и Малых и Белых,
И между берез и осин,
Под крики то красных, то белых,
И треск обмороженных зим.
История гонит поземку,
Стучит кантонист в барабан,
Чего там, положим котомку
В потрепанный наш шарабан...
Who cried of Jews from Russia?
They go on the road through the wood...
Куда ты девался, Абраша?
Туда, где пасется верблюд...*

Я в то время не знал иврита, поэтому там, где было надо уже перейти на иностранный язык, вставил строки по-английски.

Вообще-то, мне кажется, что по поводу решительного расставания эти стихи более уместны, чем странная идея Солженицына задним числом свести счеты совместного существования. Тем более нелепо выглядят те евреи, как, например, некий Копелиович или супруги Воронель, которые эту его идею стали одобрять в журнале «22».

Одновременно я написал, так сказать, для собственного пользования встречный марш для прибытия в Израиль. В духе своих представлений и ожиданий.

*В Израиле, где бедуин
Не тащит девку за овин,
Не все спокойно,
Не видим социальный мир,
Муниципальных нет квартир,
Все недовольны.*

*В Израиле, где паразит
Не будет так же знаменит,
Как был в России,
И хоть партийных пруд пруди,
Но что-то светит впереди,
Как и просили.*

Этому предшествовала определенная работа над текстом. Собственно, сначала я написал первые строки в более бодром и позитивном духе:

*Там все спокойно,
Мы видим социальный мир,
Муниципальных есть квартир,
И все довольны.*

Но знакомые мне оттуда написали: «Ты что? С чего ты это взял?» Тогда я переделал стихи в более объективном духе. Кстати, как потом выяснилось, тоже и бедуины иногда ведут себя ассоциально и неправильно в отношении женского пола. В общем, это несколько напоминало работу над стихами, описанную Михаилом Вольпиным, смотри цитату в известной статье Маяковского «Как делать стихи»:

*И поэтому, как говорил Жан-Жак Руссель,
Поворачивай истории карусель!
-Не Руссель, товарищ, а Руссо.
-Ну, тогда не карусель, а колесо.*

Наконец были куплены билеты на поезд, поставлен штамп транзитной визы через Польшу. В израильском посольстве нам не задали ни одного вопроса. У соседнего окошка был слышен диалог: «Что же, по-вашему, Иванов это еврейская фамилия?» В ответ слышалось какое-то «Бу-бу-бу».

На проводы собралось человек шестьдесят. В пустой квартире я всматривался в лица знакомых и друзей, большинство которых никогда не увижу. Из Ленинграда специально приехал мой школьный друг Витя Генкин. Знаменитый фотограф, Боря Кауфман, подарил мне часы, чтобы я его вспоминал, когда буду смотреть время. На следующий день мы погрузили свои чемоданы и баулы и на четырех легковушках отправились на Белорусский вокзал. Еще через день на станции Брест мы пересекли границу. В Варшаве нас перегрузили в автобус Сохнута (Еврейского Агентства) и перевезли в пересыльный центр. Там нас накормили обедом, и мы сели отдыхать на лужайке. Какая-то женщина ко мне подошла и грустно сказала: «Вы собаку с собой взяли? А я свою оставила». Администратор мне предложил: «Тут начнется забастовка авиадиспетчеров, застрянете здесь надолго. Если хотите, можно лететь прямо сейчас. Только чемоданов у вас много, оставьте половину, они приедут морем». Нам выдали клетку для собаки и отвезли в аэропорт. Кстати, собака Джеки страшно обиделась, что ее внезапно засунули в клетку, и не разговаривала с Лилей две недели после этого. Вечером 13 июня мы приземлились в аэропорту Бен-Гурион около Лода. Нам выдали сколько-то денег и удостоверение нового репатрианта – теудат оле – одно на всех. Место в гостинице для новоприбывших было, как нам сказали, около Иерусалима, в Макабиме. На самом деле, как выяснилось,

Илья Иослович. По лестнице вверх

это место было на полдороге между Лодом и Иерусалимом, на самой границе перемирия 1949 года, «зеленой линии». Мы загрузились в такси, и по сторонам дороги замелькали пальмы. Около гостиницы нас встретил ночью местный вооруженный патруль, помог разгрузиться и затащить вещи в комнату.

*Из деревушки Макабим
Тебе привет шлет Иослович,
Тут, в общем, не бывает зим,
И разная растет здесь овощь.*

Всего в 1990 году из Союза прибыло 213000 человек, в 1991-м – 179720 человек. Собак никто не считал.

ПИЦЦА-ГЁРЛ

Сначала вместе с негромкой музыкой появлялась она – в чёрном трико, очаровательная, тоненькая, с большими накладными ресницами. Мелко, кокетливо дрожала руками-крылышками. Перелетала – «з-з-зи», «з-з-зи» – из одного угла в другой в неотлучно следовавшем за ней круге ласкового света. Потом пристраивалась где-нибудь, замирала. Руки превращались в лапки, и она начинала очень похоже перебирать ими, медленно поглядывая по сторонам. И неожиданно срывалась опять – «з-з-зи», «з-з-зи»! – с места на место, с места на место...

И тут из-за кулис выбирался он – в несуразном наряде, как-то боком, оглядываясь. Он тащил здоровенный, неровно оторванный кусок картонной упаковки, на котором виднелись остатки жирных надписей, что-то вроде «овать» и «ерх», и нарисованный раскрытый зонтик. Он укладывался прямо посередине сцены на этот картон, закрывал глаза – мол, наконец-то здесь, в уютном месте я отдохну. Но тут снова – «з-з-зи», «з-з-зи» – из одного угла в другой. Он ворочался, вытаскивал из-под себя картон, потешно накрывался им, но жужжание и полёты вокруг продолжались. Иногда она даже нахально присаживалась прямо на него и снова перебирала и перебирала лапками. Народ веселился. В конце концов он поднимался, какое-то время очумело следил за непоседой, затем делал комически неудачные попытки прихлопнуть её... и вдруг резко – бац! Кусок картона попадал по назначению – музыка обрывалась. Он осторожно подбирался к свернувшемуся тельцу, «отрывал» как бы прилипший картон, дёргал за неподвижные крылышки-лапки. Потом, удовлетворённый собой, укладывался на излюбленное место, укрывшись всё тем же картоном. Свет покидал его – в луче оставалась только поверженная проказница. Неровным дыханием несколько раз проявлялись и пропадали музыка и свет. Вот повисли, казалось, уже последние, почти не-

слышные аккорды. Тишина. Ещё один слабый всплеск. Полная темнота и тишина...

Овация!

Багажник маленького горбатого «шевроле» отныне будет вечно пахнуть густым, чесночно-сдобным запахом горячей пиццы. Да что там багажник – весь небогатый, бутылочного цвета салончик трёхдверного автоуродца. Стоит только дёрнуть дверцу, бухнуться на проваленное водительское сидение – и от этого запаха так захочется есть, как будто бы ничего не ел целую неделю, хотя прошло всего полчаса после плотного обеда. Неудивительно, если запах останется с шевролёнком даже на автомобильной свалке, которая всё ближе и ближе подбирается к нему по ежедневным дорогам его долгой, по автомобильным меркам, жизни.

За три года службы у «Папы Савериос» красные плоские сумки с пиццей, прилежно сохраняющие тепло пахучего теста, прятались в лоно машины невероятное число раз. А потом неслись привычным маршрутом дневных и вечерних улочек к закономерно нетерпеливому заказчику, одинаково истекающему слюной – что в отдельном собственном четырёхспальном доме с гаражом на три машины и бассейном во дворе, что в малюсенькой однокомнатной студии, снятой в аренду.

Здесь, на стенке крошечного вестибюля, – панель с почтовыми ящиками и именами жильцов. Нужно осторожно освободить правую руку, чтобы нажать на белую прямоугольную кнопку звонка напротив фамилии «Луис» (такая фамилия стоит в бланке заказа). При этом постараться сохранить строго горизонтальное положение сумки с пиццей, поддерживая её снизу левой рукой и несильно придавливая животом к стенке. «Доставлена пицца», – громко заявляет она в домофон, оживший каким-то невнятным возгласом. Замок жужжит, и всё той же свободной рукой она нажимает на ручку двери. Пять ступенек вверх, две квартиры на площадке. Судя по номеру – налево. Дверь приоткрыта, и оттуда настороженно выглядывает чернокожая девочка лет пяти. Убедившись, что поднявшаяся по лестнице девушка одета в футболку и кеп-

ку со значком пиццерии, малышка весело, непрерывно кричит, не отводя взгляда от красной сумки: «Это пицца-гёрл, мам, это пицца-гёрл!» За её спиной не спеша подплывает круглая мама с весьма большим дитятей на руках.

– Привет, мисс, – говорит она, улыбаясь, – отдайте пиццу ей, мисс, – и указывает головой на дочку.

– А ты удержишь?

Девочка протягивает обе руки и довольно долго стоит так, демонстрируя полную готовность к принятию груза, пока «пицца-гёрл» на весу расстёгивает молнию сумки и достаёт картонную коробку. Тут же на волю со всей прытью выскакивает запах. Аккуратно ступая, малышка уносит пиццу в глубину квартиры (спасибо, спасибо!), а мамаша вытаскивает из кармана халата несколько помятых бумажек. Один доллар из них – за доставку.

После трёх лет жизни в Чикаго он снял квартиру в Украинской Деревне – так называется весьма недешёвый район недалеко от центра города. Название это сложилось исторически, и украинцев здесь обитает не так уж много, хотя попадаются улицы, где подряд расположены украинские магазины, булочные, офисы врачей и адвокатов, говорящих по-украински, компании по доставке посылок и денег в страны Восточной Европы. А рядом с домом, где он тогда снимал квартиру, стоит православная церквушка. Поп, правда, ни по-украински, ни по-русски говорить не умел, потому что родился в Америке, но происхождения был явно славянского, да и службу знал хорошо и по-нашему. Когда позднее они познакомились поближе, он даже стал приглашать батюшку к себе домой на беседу о душе и бутылку водки. Попа звали отцом Джозефом (то есть Иосифом), от приглашения поп никогда не отказывался, но от душевных разговоров они быстро переходили к прослушиванию «Пинк Флойд», и оба легко соглашались в том, что последние альбомы, записанные после ухода из группы бас-гитариста Вотерса, уже жалкое подобие великих записей, сделанных группой в семидесятых. И ещё он помог отцу Джозефу улучшить церковный веб-сайт, а когда сайт повредили

хакеры и всунули туда порнуху, смог всё починить: не только убрал безобразия, но и поставил добавочную защиту.

Жить тут было неплохо, только обнаружилось, что, когда заходишь в украинские магазины, лучше ничего не спрашивать у продавщиц по-русски, а так как украинского он не знал, то приходилось объясняться на английском. Конечно, если что-то спросишь на русском языке, не убьют и, возможно, даже нехотя проедят в ответ пять-шесть русских слов, но выражение лиц у продавщиц сразу же становится железобетонным, и смотрят они, отвечая, уже не на тебя, а в сторону.

Другое дело – на севере Чикаго, в еврейском районе улицы Девон («Диван» – так произносят это название американцы и с удовольствием повторяют наши, придавая чужому имени свой, иногда смешной, иногда пикантный смысл: «я был на Диване у своего лечащего врача» или «мы сегодня виделись с ней на Диване»). Так вот там, на улице Девон, чикагском варианте Брайтона, в русских магазинах говорят и по-русски, и по-украински, и по-белорусски, и на идиш... а иногда и по-грузински, по-армянски и по... лишь бы покупатель покупал, а подход к нему найдётся.

Но зато в Украинской Деревне и вокруг этого района много баров, где играют местные рок-группы, и небольших ресторанов с самой разнообразной кухней. Можно было каждый вечер ходить в другой ресторан, и повторное посещение одного и того же места наступало не скоро, лишь бы деньги водились. Но водились они у него не всегда. Из компании он ушёл: сидеть по восемь часов перед компьютером, почти не вставая с места, и делать бесконечные отчёты о продажах неизвестных, спрятанных под набором букв и цифр запчастей для бытовой техники, было тошно. Небольшой и смутный опыт работы, полученный на телестудии в некоем областном городе, где он миллион лет тому назад работал оператором, пригодился: теперь он мотался по свадьбам, снимал, монтировал фильмы, кое-как сводя концы с концами, ведь приходилось выплачивать кредиты за камеру и другую аппаратуру.

Летом её место – на неудобном пластиковом стуле (он был когда-то белым), стоящем на тротуаре у входа в кухню пиццерии. Запах течёт мимо неё, распространяется на всю улицу, настойчиво забираясь даже в те машины, что проезжают по дороге с плотно закрытыми окнами. Иногда заказов на доставку мало, и она подолгу сидит здесь в ожидании: слушает в наушничках музыку, разглядывает автомобильную стоянку перед пиццерией и соседними магазинами.

Рядом растёт какой-то густой, на вид довольно экзотический куст, на одной из веточек которого примостился крупный зелёный богомол. Его почти не отличишь от ветки – ни по виду, ни по цвету. Он совершенно неподвижен, терпелив и, видимо, безмятежен. А ровно в полдень в пиццерию заходит китаец, похожий на богомола. Это владелец соседнего, тесного – в одну комнатку – магазинчика подержанных компьютерных игр. Китаец (ей почему-то хочется сказать «китайчик») – так она и называет его про себя) всегда одет в зелёную футболку или короткую салатную курточку и почти такого же цвета штаны. Он неизменно заказывает только один кусок пиццы – одного и того же сорта – и баночку лимонада. Хозяин пиццерии, индеец, завидев приближающегося к дверям китайца, сразу идёт на кухню за куском пиццы, и когда китаец подходит к стойке, его уже ждут коричневый пакет с названием заведения и вспотевшая алюминиевая баночка. Но китаец, как бы не видя пакета и банки, всегда невозмутимо произносит одну и ту же фразу, выделяя числительные:

– Здравствуйте, могу я заказать один кусок пиццы с овощами и одну банку колы?

Индеец так же невозмутимо протягивает ему заказ, принимает деньги, даёт сдачу – всё это с точностью до малейшего движения повторяется каждый день.

Он жил в квартире, похожей на корабельный трюм, оказавшийся почему-то на втором этаже трёхэтажной постройки начала двадцатого века. Странности начинались уже при входе в дом: дверь с улицы вела на узкую лестницу из когда-то полированно-

го дерева, не совсем винтовую, но идущую полукругом. Углы на площадках между пролётами тоже были закруглены, а на певучих ступеньках уложен бордовый, ныне сильно вытертый ковёр, с помощью складок хитроумно повторяющий повороты лестницы. Стены покрывали неровные, неопределённого цвета наросты краски, которые по чьему-то замыслу, видимо, должны были стильно изображать почётную древность этих стен. Затхлый воздух и мутные овальные светильники усиливали впечатление – всё это действительно напоминало то ли внутренность башни маяка, то ли вход в какой-то большой, выдавший виды корабль. Иногда даже казалось, что лестничные пролёты покачиваются на волнах... или это он сегодня слишком долго просидел в баре?

За дверью в его квартиру открывалось неширокое, но длинное пространство с тёмными деревянными балками на потолке, только условно, с помощью скудной мебели разделённое по назначению. Слева от входа без предупреждения начиналась кухня, имеющая небольшое оконце, а справа – некое подобие прихожей, переходящей в гостиную, которая в свою очередь не очень заметно перетекала в закуток спальни. В кухне находилась ещё одна дверь; она выходила на заднюю, совсем уж неказистую лестничную клетку. По лестнице можно было спуститься в пустой, строго забетонированный внутренний дворик или подняться на плоскую крышу, откуда неожиданно открывался восхитительный вид.

Ему нравилось это жильё странностью и тем, что оно стоило немного по сравнению с другими, нормальными квартирами по соседству. И ещё – с крыши можно было снимать небоскрёбы. Это замечательно получалось на закате.

Во второй половине дня просыпается танцкласс, расположенный бок о бок с пиццерией. «Танцевальная студия Дороти» – с достоинством сообщает его вывеска, по-видимому, призванная пробуждать ассоциации с девочкой Дороти – героиней «Волшебника страны Оз» (той самой героиней, что у Волкова, в русском варианте этой сказки, зовут почему-то Элли), а также напоминать про летающие туфельки и другие чудеса. На стоянку и к дверям

студии начинают прибывать машины с маленькими волшебницами танцевальной страны. Их привозят мамы. Мам, которые не работают и регулярно возят своих сыновей на тренировки и матчи по футболу, а также во всяческие другие спортивные секции и клубы, тут зовут «футбольными мамами». Ну, а этих, так же регулярно и преданно привозящих своих девчонок на танцы, она называет (опять же – про себя) «балетными мамами». Вот они – «балетные мамы» в растянутых футболках и шортах на необъятных задницах – бодро шествуют за своими чадами и исчезают в дверях волшебной страны.

Ей тоже очень хочется туда попасть, однако просто так заходить неловко. Но вот в один из дней индеец вдруг сообщает, что из волшебной страны поступил заказ на шесть большущих коробок пиццы – там справляют день рождения хозяйки. Она не может доставить весь заказ сразу, перетаскивает коробки в два приёма и только потом, отдышавшись и получив деньги, а также неплохие чаевые от «Дороти», рассматривает танцевальную студию. Правда, ничего особо интересного она не видит: всего лишь скучный пустой зал с зеркалами, в углу которого работники танцкласса уже начали разрезать на столах пиццу.

Нужно уходить. Отразившись в зеркалах, пицца-гёрл застывает на секунду прямо посередине зала. И никакой музыки нет, но появляется она – очаровательная, тоненькая, с большими накладными ресницами, в чёрном трико. Мелко, кокетливо дрожит руками-крылышками. Перелетает – «з-з-зи», «з-з-зи» – из одного угла в другой. Потом пристраивается поближе к вкусному запаху, замирает. Руки превращаются в лапки, и она очень похоже перебирает ими, медленно поглядывая по сторонам. Но неожиданно срывается опять – «з-з-зи», «з-з-зи» – скорей к выходу! Увы, ей больше нельзя оставаться в волшебной стране – сейчас её заметят. С парковки уже движутся сюда девчонки и их «балетные мамы».

Заказы на свадебную съёмку искал Бронштейн, взяв на себя непростые труды общения с заказчиками и получения от них денег. Иногда Бронштейн приезжал в Украинскую Деревню на

монтаж, в большом, но «убитом», как он сам говорил, «Понтиаке Бонневиле» двадцатилетней давности, с дипломатом из коричневой кожи под крокодила и в солидном твидовом пиджаке (даже в очень тёплую погоду).

В боковом кармане пиджака находился измятый блокнот без обложки с жёлтыми отрывными страничками, на которых мелким-мелким бронштейновским почерком были записаны имена жениха и невесты, пап и мам, а также памятные даты и всякие другие вещи, важные для обязательного упоминания в титрах свадебного видео-шедевра.

А в крокодилем дипломате у Бронштейна всегда лежали бутерброд с сыром и яблоко – больше ничего. В начале девяностых годов во Львове Бронштейн побыл директором рекламной фирмы и от нервного напряжения, будучи человеком чувствительным, сильно испортил себе желудок, увёртываясь то от налоговой службы, то от бандитов. Поэтому теперь ни в закусочных, ни в ресторанах Бронштейн есть не мог. Во время монтажа Бронштейн вежливо просил чаю без кофеина и, тщательно пережёвывая, поедая сначала бутерброд, а потом яблоко, разрезая его на кусочки.

Ещё Бронштейн часто глотал «но-шпу», каждый раз перед приёмом сокрушительно заглядывал в коробочку и пыхтел оттого, что количество таблеток быстро уменьшается. «Но-шпу» ему периодически привозили знакомые с Украины, так как в местных аптеках её нет, а похожий американский препарат Бронштейн принимать ни за что не хотел, жалуясь, что после приёма такого средства кружится голова и за руль не сядешь.

Конечно, в то время, когда партнёры по свадебному кинобизнесу сосредоточенно корпели перед мониторами в трюме гостиной, их никто не видел, но зрелище это было забавное: «продюсер и режиссёр» Бронштейн – в твидовом пиджаке, жующий неизменное яблоко и поглощающий «но-шпу», и «оператор и монтажёр», он же хозяин квартиры – с банкой пива, в растянутой футболке с полустёртой надписью на животе: «Это не пивной бочонок, это бак с горячим для секс-машины»...

К вечеру в пиццерию иногда приползает пожилая, совершенно опустившаяся особа, живущая где-то поблизости. Она пьяненько канючит, долго и настойчиво предлагая себя... за пиццу. Индиец сидит, уставившись в компьютер, или разговаривает по телефону, принимая заказы, и никак не реагирует на её малопонятный клёкот, но обычно не выдерживает повар Джоэл. Ему всё слышно из кухни, и он выносит старой проститутке десятку, чтобы та могла купить себе что-нибудь поесть и убралась прочь.

Маленький повар, мексиканец Джоэл – большой умелец на все руки. Пользуясь тем, что Джоэл – нелегал, скаредный владелец пиццерии платит прекрасному повару меньше половины нормального жалования. Но Джоэл не только повар. Он ремонтирует машины, нанимается на стройки, на уборку улиц и стрижку травы, трудится в любом месте, где берут нелегальных иммигрантов. Впрочем, он не собирается навсегда оставаться в Штатах, но уже несколько лет зарабатывает здесь деньги. Джоэл почти не говорит по-английски, но с пицца-гёрл у него симпатия и доверительные отношения с помощью знаков и отдельных слов. Он показывает ей фотографии миниатюрной жены и детей, которые ждут его дома, в Мексике: все они – смуглые, с увесистыми пузиками и лоснящимися лицами, а сам Джоэл – зачем-то в высоких охотничьих сапогах и до смешного широкополой шляпе. Когда заказов на доставку нет, ей скучно сидеть без дела, и она помогает повару – раскатывает тесто, нарезает овощи, хотя индиец, конечно, ничего ей за это не платит. Однажды, явившись на работу в сильном подпитии, Джоэл с заговорщическим видом зовёт её на стоянку, где припаркован древний джип. Под половиком между передними и задними сидениями машины, в углублении пола, закрытом самодельным лючком, лежит множество увесистых пачек – заработок Джоэла бог знает за сколько времени. Положить деньги в банк он не может, потому что у него нет нормальных американских документов, да и немалые налоги придётся платить, если объявить эту сумму официальным доходом. А в двухкомнатной квартире, которую Джоэл снимает вместе с пятёркой таких же, как он, нелегалов из Мексики, оставлять деньги нельзя ни в коем

случае – им он не доверяет ещё больше, чем банку. Так что единственным местом для хранения сбережений, как ни странно, является машина, которую он ставит на стоянку перед пиццерией. Благо, машины здесь воруют крайне редко, да и кто покусится на его облезлую развалюху. Понимая, что пьяному мексиканцу захотелось похвастать своим заработком, и на трезвую голову он ещё будет раскаиваться, что открыл перед пицца-гёрл свой главный секрет, она никогда не напоминает ему об этом.

Когда позвонил профессор, он монтировал свадьбу дочки русского владельца молочного завода. Заплатить обещали хорошо, и закончить работу надо было поскорее. Бронштейн мучился очередным «обострением» и не появлялся.

На мониторе толстушка-новобрачная, отвернувшись от толпы гостей и уродливо открыв от натуги рот, швыряла за спину здоровенный букет цветов. Нужно было вставить какую-нибудь перебивку – чей-то короткий крупный план, допустим, молодого супруга-американца, чтобы спрятать её перекошенную от усердия физиономию. Не отрываясь от кнопок, он невнимательно слушал профессора и сразу же безнадежно заскучал от медицинских терминов и витиеватых предложений. Так и не разобравшись, чего от него хотят, он буркнул: «Приезжайте» – и продиктовал профессору свой адрес.

Неплохо было бы домонтировать эпизод до прихода профессора, но захотелось есть, и, не имея времени пойти в ближайший ресторанчик, он решил заказать пиццу по телефону. Пухлая жёлтая телефонная книга открылась на цветной рекламе «Папы Савериос».

Домофон отчего-то не работал. По звонку он открыл дверь и удивился, что разносчиком пиццы, вместо привычного в таких случаях шустрого мальчишки-старшеклассника, оказалась невысокая миловидная девушка. Он на мгновение замялся, а когда протянул деньги, то неловко уронил пару четвертных монет и чертыхнулся по-русски.

Она улыбнулась:

– Деньги через порог нельзя, – сказала она, продолжая держать коробку с пищей в руках.

Он присел на корточки, чтобы подобрать монетки, но, сообразив, что она сказала это тоже по-русски, тут же поднял голову:

– Наша?

– Наша, наша... Через порог нельзя – это к несчастью.

– Тогда входите.

Она переступила порог:

– Мне нужно ехать. Места у вас на улице не найти – я притулила машину возле пожарного крана. Не хватало, чтобы полиция вкатила штраф – всё, что за неделю заработала, погорит.

Она прошла в гостиную и, осмотревшись, не нашла ничего лучшего, как поставить коробку на угол стола, заставленного компьютерами и монтажной аппаратурой. Он наконец-то отдал ей монеты.

– Спасибо... А это что?

Она показала на монитор, где повис в воздухе над головой новобрачной брошенный букет, и сама новобрачная замерла, подняв размазанные в быстром движении руки.

– Свадьба.

– Ваша свадьба? Или вы снимаете свадьбы? – она жадно разглядывала технику на столе. – Какая у вас классная камера! Штукки на три потянет, наверное?

– Эта – побольше... А вы давно... возите?

– Уже три года почти.

– И почему такая работа? Можно ж найти получше?

– Наверно, можно, но мне такая нравится, – она заторопилась и перешла на английский: – Доброго вам вечера, спасибо, до свидания!

– Вам спасибо! – крикнул он вслед, подскочив к двери.

– А у вас... прикольная... футболка... – услышал он из-за поворота лестницы. На нём была та самая любимая домашняя футболка с фривольной надписью на животе.

Из окна он успел увидеть маленький зелёный «шевроле», уплывающий в лёгкие сумерки Украинской Деревни.

Он едва успел проглотить кусок пиццы, как приехал профессор.

– Мне порекомендовал к вам обратиться Бронштейн, – первым делом заявил профессор, который профессором совсем не выглядел, и вообще никак не выглядел: смотришь на лицо – вроде видишь, а отвернулся – и уже не помнишь, какой он. – Бронштейн говорит, вы большой в этом деле специалист, – профессор кивнул на монитор, где по-прежнему тосковала застывшая новобрачная.

Он тоже кивнул, дожёвывая пиццу.

– Так вот, дорогой мой, я предпочитаю овцу, – продолжал профессор.

Они стояли у стола, недалеко от пиццы. Садиться профессор не захотел, хотя в гостиной обитала парочка ушастых старомодных кресел (их кто-то за ненадобностью выставил на улицу недели три назад, и было грех не найти им лучшего пристанища).

– Какую овцу?

– Дорогой мой, – значительно продолжал гость, – некоторые любят свиней, но я предпочитаю овец. Согласитесь, – (он безоговорочно согласился), – в моём случае, овца – это гораздо лучше. Жировой слой поменьше и мышечная... – многие слова профессора, как и в разговоре по телефону, создавали ощущение исключительно умных, но совершенно бессмысленных звуков.

Ему хотелось взять со стола ещё кусок пиццы, но есть самому было как-то неудобно, а перебивать профессора и предлагать тому пиццу он не решился.

– Дорогой мой, – уже очень значительно продолжал профессор и неожиданно двумя пальцами ухватил со стола кусок пиццы, – я буду оперировать овцу через две недели в клинике Святого Френсиса, и вы, дорогой мой, должны это снимать... – Профессор резко задрал голову и точным движением погрузил пиццу в рот.

Теперь он тоже мог бы протянуть руку за пиццей, но вдруг до него дошло:

– Что я, профессор, должен снимать?

– Дорогой мой, вы должны снимать операцию. Хирургическую операцию на сердце овцы, – профессор вытер салфеткой губы. – Операцию, уникальную методику которой я разработал в России и, благодаря спонсорам, привёз показывать американцам. Нельзя упустить ни одного момента из этой операции, понимаете, ни одного! Я провожу её здесь специально для того, чтобы заснять весь процесс. Этот фильм – ваш фильм – мы используем для презентации потенциальным производителям моего сердечного стимулятора. Наш спонсор вам заплатит... сколько вы обычно берёте за свадьбу? Он заплатит больше... Только вам будет нужен помощник: нужно снимать двумя камерами, с разных точек, и поставить в операционной дополнительный свет. У вас же есть? Бронштейн сказал, что у вас всё есть...

На следующий день он подъехал к «Папе Савериос» – адрес нашёлся на той же, оставшейся открытой странице из телефонной книги.

Заказов на доставку ещё не было ни одного: она сидела на стуле, слушала Beautiful Garbage и воскликнула «хей!», удивившись его неожиданному появлению. Она решила, что он приехал купить пиццу.

– Нет, – сказал он, – я хочу предложить вам подработать. Мне нужен помощник, чтобы снимать несчастную овечку.

Джозл, который через открытую дверь видел, как они разговаривали, не позволил ей помогать ему на кухне и целый день недовольно бурчал по-испански: «чика», «бонита», «вентозо» и ещё бог весть что.

Ранним утром в назначенный день «шевроле» появился перед его домом. Ехать решили на нём. Несмотря на маленький размер, «горбун» для багажа был вместителен: задние сиденья легко опускались, таким образом, за спинами водителя и пассажира образовывалось весьма приличное пространство, а задняя дверца автомобильчика откидывалась вверх, открывая удобный доступ для погрузки и выгрузки. Хотя съёмное оборудование было

упаковано в двух объёмистых ящиках, они, к удивлению, легко поместились.

– Ваш транспорт, – одобрил он, устраиваясь на тесноватом пассажирском сидении, – для моего дела просто незаменим – всё оборудование умещается, и бензину жрёт мало... хотя сидеть здесь, конечно, ужасно неудобно – ноги совсем некуда деть...

– Это у вас ноги чересчур длинные выросли, – приснула она, водрузила на нос лиловые солнцезащитные очки, и они отправились в путь.

В больнице Святого Френсиса какие-то люди в зеленоватых одежках помогли проташить ящики через многочисленные переходы и комнаты; потом операторам выдали такую же форму, защитные белые маски и смешные мешки для ног. Их предупредили, что в операционной им придётся всё время работать в масках. Но сначала они запечатлели двух очень похожих овечек, которые – каждая в отдельном чистом вольерчике – спокойно жевали что-то, ещё, видимо, не подозревая о своей принадлежности к научной среде сразу двух великих держав.

– Какую из них вы оперируете сегодня? – спросил он у помощника профессора, сухонького неразговорчивого китайца, опять напомнившего ей знакомого богомола.

– Этот, – ткнул пальцем китаец. – А этот – запасной.

Операторы переглянулись: ишь как у них всё поставлено – даже дублёр есть.

Они установили камеры и свет в операционной, хотя света там вроде бы и своего хватало, но он сказал, что ему нужно всё-таки иметь возможность точно осветить нужные участки. Одна камера должна была брать общие планы. Детали, ход операции он собирался снимать второй камерой – крупным планом, с руки. Она успела поснимать для пробы и той, и другой камерой. Всё отлично получилось – такое было у неё качество: легко осваивать новое дело.

Долго ждали, пока привезут «больного», а когда привезли, обнаружилось, что овечка уже спит, вытянувшись на боку, прикрытая простынёй под самое горло. Казалось, что на каталке лежит человек – подросток или взрослый небольшого роста. Даже вы-

ражение симпатичной, немного удивлённой физиономии у овцы было совсем как у крепко спящего человека, и от всего этого им почему-то стало не по себе.

Съёмка началась, и первые кадры успешно запечатлели подготовку к операции – стрижку шерсти на овечьей груди. Но когда профессор сделал первые разрезы и растянул мышцы, открывая доступ к бьющемуся сердцу, у главного оператора желудок подкатился к горлу и собрался вообще выйти наружу, угрожая серьёзно помешать съёмочному процессу... Вот где пригодилась доблестная помощница, которая тут же заметила, что открытая часть лица над маской у главного оператора стала зеленее его костюма. Она забрала камеру из его рук и, как могла, храбро продолжила съёмку, пока тот справился с собой в другом конце операционной, – благо, ему удалось скоро прийти в себя. Видимо, стыд показаться перед помощницей полным размазнёй помог быстрее справиться с приступом дурноты. А может, сработала профессиональная закалка – ведь во время многочисленных запечатлённых его камерой свадебных торжеств некоторые сцены, особенно к концу застолья, тоже были достаточно противного свойства.

Он вернулся к камере, и картинка развороченных розовых тканей, желтоватого жирового слоя и крови воспринималась им теперь как нечто требующее только концентрации на компоновке кадра, фокусе и наличии нужного света. Так что далее всё происходило в штатном режиме, по крайней мере, у съёмочной группы. С медицинской точки зрения дело обстояло не так хорошо, точнее, совсем нехорошо. Хотя профессор и его помощники слаженно провели всю операцию, подсоединили, запустили вживлённый стимулятор и аккуратно наложили швы, сердце у овечки неожиданно остановилось. С ней повозились ещё какое-то время, но пробудить пациентку так и не удалось. Китаец натянул простыню на голову овцы, ставшую внезапно неживым предметом, а профессор показал знаками, что это снимать не нужно. Впрочем, операторы и сами всё уже поняли.

– Ну, и что теперь? – тревожно спросила она, когда они отъехали от больницы. – Переснимать?

– Нет, профессор сказал – монтировать, как будто всё прошло нормально. Операционная и персонал (наш скромный гонорар – не в счёт) стоят таких денег, что повторять операцию нет смысла. А такие мелкие (как он сказал) неприятности случаются, и для дальнейшего продвижения его идеи значения не имеют.

– А нам заплатят?

– Ну, это посмотрим после монтажа, – осторожно сказал он. – Вам я заплачу в любом случае, спасибо вам громаднейшее! Вы спасли меня от позора, вы – просто герой... героиня. И так всё хорошо у вас получается! Послушайте, а может, нам это... отпраздновать завершение съёмочного дня... вернее, перекусить где-нибудь и расслабиться?

– Ну, я не думаю, что смогу сегодня что-то есть, – сказала героиня, открывая окно и чуть наклоняя голову навстречу неосвежающему движению жаркого летнего воздуха.

Когда подъехали к его дому, она уверенно повторила, что в ресторан ни за что не пойдёт, мол, её мутит от запаха еды, но, разгрузив съёмочное барахло, они отправились в украинский магазин и закупили кучу снеди и выпивки. Она настолько похоже изобразила «западенский» говорок, что продавщица стала нахваливать какие-то особые пирожки свежей выпечки и что-то ещё и ещё – он не понимал и молча складывал в корзинку пакеты. Вся эта родная закуска вполне пришлась к месту, и гадкие впечатления прошедшего дня отступили, как только они устроились за шатким столиком в его кухне и выпили по первой. Правда, он чуть не ляпнул: «За упокой овечьей души», но вовремя споткнулся на слове «за» и выпалил банальное, но хотя бы невинное: «За наше творческое сотрудничество!» Водку она пила с задором и безостановочно что-то говорила:

– Кто придумывает эти дурацкие сюжеты, в которых мы играем свои глупые роли? Кто я теперь? Украинская дивчина, заблудившаяся в Америке? Водитель старенького «шевроле»? Фея из Волшебной Страны? Пицца-гёрл? Помощница оператора, снима-

ющего сложную хирургическую операцию, которую на сердце овцы проводит русский профессор в чикагской больнице?.. Чушь! Какое плохое кино... И всё новые и новые фальшивые, глупые роли... Впрочем, я люблю новые роли, старые мне продолжать неинтересно... А ты знаешь, кто я? Я вообще-то действительно артистка, когда-то даже играла в театре пантомимы. Знаешь, кого играла? Му-ху!.. Очень успешно изображала, представь себе. Я летала, летала – «зи, зи»... а потом меня – хлоп! И нету! Нету меня, нету мухи... Убили муху. Что-то я под такой мухой... Ты меня нарочно напоил, да?

– Конечно, нарочно, – он потянулся к ней и осторожно убрал с её лица растрепавшиеся волосы, – бедная ты моя, убитая мухацикотуха.

Ночью старый корабельный трюм жутко штормило. Всё в нём качалось, стонало и скрипело – вот-вот рассыплется на мельчайшие детальки. Уже почти ничего не чувствовали горящие губы и влажные тела, но снова и снова накатывались гигантские, выпущенные на свободу волны глубоко запрятанных желаний, и, казалось, не будет им конца. Однако пришёл самый высокий, самый девятый вал и конец, конечно же, наступил, потому что ничто не продолжается бесконечно. Даже тихая летняя ночь снаружи и безумный шторм внутри корабельного трюма на втором этаже странного дома, плывущего вместе с соседней церквушкой среди верениц спящих автомобилей по тесным улицам Украинской Деревни.

На рассвете они нацепили на себя какое-то подобие одежды, вылезли по задней лестнице на тёплую, неостывшую за ночь крышу и, обнявшись, стали на краю. В небе ещё висела сонная ночная дымка, но солнце уже пробовало царапать глаза бликами от окон и зеркальных стен небоскрёбов, сбившихся в кучу в центре Чикаго. Уставшие в долгом путешествии мореплаватели, шурясь, с тревогой и надеждой рассматривали этот скалистый берег нового городского дня...

– Послушай, а кто твои соседи... по кораблю? – спросила она.
– Я, наверно, очень громко орала?

– По-моему, не громко. По-моему, в самый раз, – довольно ухмыльнулся он. – И вообще – пусть завидуют...

Вернувшись в дом, они мгновенно заснули, но спали недолго, потому что около девяти явился Бронштейн.

– Во-первых, я принёс деньги за молочную свадьбу и аванс за овцу! – захохотал он с порога. – Во-вторых, у меня готов план монтажа и сопроводительный текст профессора, переведённый на английский. Через три дня я назначил озвучивание: этот текст за кадром будет читать моя знакомая американка, преподаватель из Трумэн Колледжа. Когда она приедет...

Тут Бронштейн устался на появившуюся из района спальни знакомую футболку с надписью: «Это не пивной бочонок, это бак с горючим для секс-машины». Футболка сказала: «Здрасьте» – и, приветливо улыбнувшись, проследовала в район кухни. При этом из-под футболки выглядывали такие потрясающие коленки, что продолжить инструкции Бронштейн не сумел.

– Опа-опа... опочки... – забормотал он, переведя круглые глаза на хозяина квартиры, – такие дела, дела такие... Значит, текст я тебе оставляю. И чеки. А ты монтируй, мон-ти-руй... До свидания! – это громко в сторону кухни, а потом снова тихонько: – Я испаряюсь.

И Бронштейн испарился.

Договорились, что она придёт к нему вечером, после работы, но она не пришла. Он занялся монтажом овечьей операции, просидел допоздна и только утром сообразил, что ничего о ней не знает, кроме имени, даже на номер машины не обратил внимания. И где она живёт, тоже неизвестно.

Она не приехала и на следующий день, и тогда он помчался в «Папа Савериос». Индеец неохотно прокаркал, что русская пицца-гёрл не появлялась уже несколько дней. Ни её фамилией, ни адресом владелец пиццерии никогда не интересовался и платил ей наличными после каждого рабочего дня.

Пока шли попытки расспросить индийца, из двери кухни выглянул маленький повар, и вдруг показалось, что красноватое от кухонного жара – и вообще красноватое – лицо мексиканца плавится слезинками. Но лицо быстро исчезло, а индеец сообщил, что повар почти не говорит по-английски. Да и что важного этот мексиканец может знать?..

Через месяц на сдачу готового фильма профессор приехал с женой и меланхоличным спонсором по имени Илюша. Жена профессора разговаривала милым питерским говорком. Пока мужчины что-то обсуждали с Бронштейном, она успела осмотреть квартиру и затем участливо, но очень некстати спросила у хозяина:

– Вы, я вижу, живёте по-холостяцки. Что ж так?

Фильм он запустил на самом большом мониторе. Уверенный, но малопонятный текст на английском языке шикарно звучал через колонки и придавал скучному действию профессиональный и глубоко научный характер. И хотя ощущение того, что на экране идёт аккуратная разделка окровавленной туши в мясном отделе, периодически настырно возвращалось к непосвящённому Бронштейну, профессор остался очень доволен. В конце, при появлении беспечно жующей овечки, якобы успешно перенесшей тяжёлую операцию (на самом деле это были съёмки, сделанные в загончике ещё до операции, да и вообще в фильм вошёл тот эпизод, который запечатлел не покойную ныне страдальицу науки, а никогда не оперированную и поэтому совершенно не пострадавшую дублёршу), профессор радостно толкнул локтем спонсора и совершенно искренне прогоготал:

– Смотрите, дорогой мой, Илья Эдуардович, вот она! Как жуёт, как жуёт! Продавать это надо быстрее, продавать.

И такова была сила искусства, что профессор в этот момент, похоже, сам забыл, как в действительности завершилась операция...

После того как гости ушли, они с Бронштейном ещё долго сидели друг против друга в старых ушастых креслах. Допили всё, что оставалось в доме, даже остатки какого-то жуткого кокосо-

вого ликёра, неизвестно каким образом оказавшегося в одном из шкафчиков на кухне. И хотя у Бронштейна закончился жизненно важный запас таблеток, он стойко не покидал товарища.

– Ты не убивайся, – увещевал Бронштейн, постоянно делая массирующие движения рукой у себя под правым ребром, – а то на тебя смотреть... э-э... неприятно. Может, она ещё появится. Бог знает, что у женщин на уме... Да, я забыл тебе сказать: за овцу расплатились сполна! Значит, бизнес у них идёт-таки, хотя овца была того... запасная. Может, и тебе надо... завести запасную?

– Не появится, я знаю, что не появится, – мотал он головой, – и запасной такой нет и быть не может. Это было как штучный, неповторимый кадр, редкая операторская удача... Мелькнуло – и всё, уже не повторится никогда, лови не лови. Просто ей нравится всё время играть новые роли, старые ей продолжать неинтересно. Но как же я, кретин, не спросил её адрес? Фамилию... Или хотя бы запомнил номер шевролёнка... Меня теперь на улице от вида каждой маленькой зелёной машины будто током лупит. Я лихорадочно пытаюсь разглядеть, кто за рулём и...

Тут раздался зуммер дверного звонка.

– Ха, смотри, у тебя домофон починили! – Бронштейн встал и, подойдя к двери, нажал кнопку. – Хеллоу?

Домофон помолчал, а потом ехидно выдал по-русски:

– Пиццу заказывали?

Хозяин квартиры вскочил, заорал: «Заказывали, заказывали!» – и, распахнув дверь, бросился мимо Бронштейна вниз по лестнице.

Бронштейн какое-то время вяло разглядывал опустевшую гостиную, открытую настежь дверь, чёрные прямоугольники мониторов, деревянные корабельные балки на потолке. Бронштейну подумалось, что всё это здорово напоминает декорацию, сцену из пьесы, скорее всего, какого-нибудь современного зарубежного автора про их зарубежную жизнь. И ещё ему подумалось, что жизнь эта уже не зарубежная, а теперь своя, его жизнь, и надо

доиграть доверенную ему мизансцену. А так как другие персонажи на сцену не возвращались, Бронштейн вздохнул, решительно поднялся с кресла, поклонился, как зрителям, большому тёмному окну, выходящему в Украинскую Деревню, взял дипломат и стал спускаться к выходу.

Они стояли лицом к лицу на самом нижнем из поворотов лестницы. Она действительно держала в руках коробку пиццы, но не заказной, а замороженной, купленной где-то в супермаркете. Бронштейн хотел тихо пройти мимо, но вдруг услышал:

– Между прочим, она утверждает, что специально приехала сообщить тебе важную новость: сегодня в русской аптеке на Диване она видела «но-шпу» – завезли из России под видом пищевой добавки. Так что ты теперь живёшь!

– Да? – Бронштейн остановился и шутливо приосанился. Твидового пиджака на нём не было, но выглаженная белая рубашка с твёрдым воротником всё ещё напоминала ответственное прошлое. – Спасибо, друзья! Теперь я начну жить новой жизнью... Вот только выйду сначала на улицу, запишу, на всякий случай, номер маленького зелёного «шевроле».

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ

Опять нет мне покоя. Промчался за окном невидимый всадник, протрубили неслышные никому, кроме меня, серебряные трубы. И нету, нету мне покоя! Вот опять нахлынули волны и встали стеной, закрыв мир реальности. И дрожь в пальцах, и невозможность заняться любимыми делами - отброшена книга в пёстрой обложке, скучают спицы в плетёной корзине, пустые кастрюли вызывают к моей совести хозяйки, - отстаньте, подождите - не слышали разве, всадник промчался за окном. Он напомнил мне, что я должна...ах, глупости, кому и что я должна? Но крутятся в голове уже какие-то образы, я не знаю, придуманные ли, встреченные ли когда-то и забытые... Нет, не забытые, а уложенные в уголочек памяти и рвущиеся сейчас наружу, теснящие мою бедную голову и не дающие покоя...Что-то крутится в воздухе, мелькает, и я пытаюсь уловить бессвязные воспоминания и впечатления, пристегнуть их к месту и времени, облечь в сюжет невнятное внутреннее бормотание, сложить мозаику из хаотичных кусочков... Страх долго удерживал меня, страх быть индентифицированной с выдуманными героинями - ведь молва приписывает автору все глупости и безрассудства, совершённые его героями, но дрожь в пальцах сильнее чувства самосохранения, и скоро, скоро эта дрожь перетечёт на лёгкие клавиши компьютера, и послушная машина посредством серых буковок бесстрастно припечатает к экрану нечто неуловимое, дрожащее, как зыбкое марево жаркого дня, из которого соткан и воздух, и человеческая плоть...

Единственное, что будет принадлежать моему личному опыту - описание красот французской земли - мне посчастливилось как-то наскрести денег на билет, махнуть рукой на благоразумие и помчаться в путешествие, в погоню за впечатлениями и душевным покоем...

Париж! Одно только это слово заставляет учащённо биться сердце. Париж! И кажется, что стоит только побывать там, и можно уже больше ничего не ждать от жизни. Париж! И как будто не существуют боли и печали, а лишь только лёгкий праздник правит бал. Мы знаем всё об этом городе - и на какой улице была мастерская пьяницы Модильяни, и где проводил дни и ночи карлик Тулуз Лотрек, и что показывали в Мулен Руж! Мы даже знаем расположение богемных кафешек, наполненных флюидами споров и творческих идей будущих знаменитостей. Мопассан и Генри Миллер открыли нам бездны порока этого города, каждый в своё время, Франсуаза Саган окутала Париж флёром лёгкой грусти своих героинь, решающих извечно женские проблемы.

Вот и Татьяна решила, что если она не сможет побывать в городе своей мечты, то можно записать себя в племя неудачников. Главное, нужно было выбрать, где она хочет жить - в Париже или Нью-Йорке. Ещё накануне эмиграции в далёкие и чужие края Таню стали одолевать вещие сны, и ещё с ней происходило много странностей, которые иначе, как мистическими, не назовёшь. Может быть, это был Божий замысел - увести Татьяну в новую среду обитания, смысл этого великого переселения до сих пор не доходит до её сознания. Как говорят философы, необходимость пробивает себе дорогу через случайности, нужно только разгадать их невнятные подсказки. Таня оказалась понятливой ученицей и к подброшенной кем-то в почтовый ящик голубой открытке с очаровательным видом Нью-Йорка, ну, тем, с Морского Причала в Нижнем Манхеттене, отнеслась очень серьёзно. Она бережно внесла лоскуток заманчивой жизни в свою холостяцкую квартирку провинциального города, прислонила её на книжной полке к тому же стихов Гарсии Лорки и сказала самой себе: «Я буду жить здесь!». С той минуты стали происходить эти самые странности, сложившиеся в длинную цепь везучих происшествий, приведших наконец к переселению в Город Большого Яблока. Неожиданно пришло письмо от давно забытого московского приятеля из этого самого Нью-Йорка, который организовал там агентство нянь

и набирал рабочую силу на старой родине из бывших соседок и приятельниц. И у новой знакомой, которая упала на улице прямо перед Таней, рассыпав апельсины из сумочки, и которой волей-неволей пришлось помочь, мама оказалась начальницей ОВИРа, а Танины картины вдруг скупили из галереи заезжие японцы, и у неё появились деньги на билет... И это всё происходило с ней, неудачницей, у которой возлюбленные женились на подружках, всегда ломались каблуки новых туфель и в первый же день рвались колготки. Она даже записала в дневник дату предполагаемого отъезда - и так оно и случилось, точно в предсказанный день. Через три месяца после посетившей её голову безумной фантазии она проходила паспортный контроль в Шереметьево... В те же дни она записала в дневнике «Возможно, буду жить во Франции», и заклеила страницу.

Теперь, после трёх лет жизни в Нью-Йорке, в какой-то но-стальгический день, она добралась до уложенной на самое дно в ящике для белья забытой тетрадки и отклеила эту самую страничку. Ей необходимо было проверить эту возможность, иначе, она знала, не сможет жить спокойно. Тем более, что у неё появилась объективная возможность воплотить в жизнь корявые строчки, записанные наискосок листа фиолетовыми чернилами...

Итак, Татьяна отправлялась из нью-йоркского аэропорта Ла-Гвардия в парижский – Шарля-де-Голля. Одна знакомая дамочка ей сказала, капризно оттопырив губку: «Подумаешь, Париж! Ничего в нём нету особенного! Мне Прага больше понравилась!»

Таня в Праге не была, но всё равно обиделась за город своей мечты. Кстати, та же дамочка таким образом отозвалась о проводимой в Метрополе ретроспективной выставке Сезанна: «Подумаешь, Сезанн! Достаточно увидеть одну картину, а тут их просто много!» Таня тогда же быстро парировала: «Ну, кто в живописи не разбирается, тому, конечно, всё равно, одна картина или много...» Её оппонентка обиделась и больше Таню к себе домой на пати не приглашала. Подумаешь, Таня не очень-то и расстроилась! Хотя,

конечно, приятно было бывать в роскошной квартире на Пятой авеню, но гости все собирались какие-то скучные и вредные. И поговорить толком ни с кем не удавалось - мужчины сбивались в кучку и вели непонятные споры об инвестициях, налогах и процентах, в паузах ругая Буша и Блумберга, на чём свет стоит. Дамы же только злобно сплетничали и демонстрировали друг другу наряды и украшения. Таня быстро раскусила, что все эти дамы несчастны - они зависели от богатых мужей и выклянчивали у них разрешения пошляться с подружкой по городу, у них, разодетых в наряды от кутюрье, не было денег даже на чашечку кофе...

Тане повезло - она работала в дорогой парикмахерской на 65 стрит и Мадисон-авеню и прилично зарабатывала. Когда-то, смеха ради, она научилась стричь, а эмигрировав, быстренько сориентировалась в том, что поэты и художники здесь бедствуют. Не причитая и не заламывая рук в отчаянии, работая няней, она умудрилась закончить парикмахерские курсы и получить необходимую бумажку. Начинала работать в маленьких вонючих помещениях Бруклина, потом потихоньку перемещалась повыше, сначала в Бенсонхёрст, потом в район Бруклин-Хайтс, потом в Нижний Манхеттен и, наконец, высшая точка карьеры - прекрасный салон в престижном районе. Правда, она там больше подвизалась на побегушках - мыла головы, подметала, подносила кофе, помогала красить волосы капризным клиенткам... Но со всем этим её примиряли приличные чаевые, или типы, на языке аборигенов, и она даже на пару с подружкой сняла просторную светлую квартиру в новом доме на Нижнем Ист-Сайде. Лет двадцать назад этот район был опасным, его ещё описывал Лимонов, но сейчас сюда устремилась молодёжь, гангстеры куда-то пропали, торговцы наркотиками облюбовали лавочки Юнион Сквера на 14 стрит... В общем, на жизнь она не жаловалась - с наслаждением после работы цедила в барах вино, знала, в каком ресторанчике можно вкусно и недорого поесть, и где среди роскошных бутиков затерялись неприметные секондхенды, где продавалось то же самое, но за смехотворную цену. Хотелось, конечно, большего, но и на том спасибо - приятельницы

из бывшего Союза ей завидовали - они не смогли вырваться из хоматэндства и обречены были до пенсии мыть жопы сморщенным старухам, экономя каждую копейку...

Париж ей сразу тоже не понравился, и она испугалась, что та дама была права. Стало так обидно, как будто отобрали любимую игрушку или как будто жестоко обманули. Однажды её пригласили на день рождения, в ресторан на Брайтоне. Почти целый час она ехала в метро, и в ресторане затянутые в парчу и атлас женщины недоумённо разглядывали её странный наряд - ботинки на толстой подошве, короткое платье и бусы из перламутровых пуговиц. Соседки по столу, узнав, что она работает в парикмахерской, стали советовать, как им лучше постричься или в какой цвет покраситься, а её жалкие попытки поговорить о чём-то другом игнорировали. Все как-то быстро напились и пошли скакать под душераздирающие крики певицы со сцены: «А я люблю женатого...». К ней ещё стали приставать какие-то красномордые потные дядьки, и она бежала в душное нутро Брайтона, пропахшее гнилыми апельсинами и криками чаек.

Так и сейчас, с ужасом она смотрела из окна такси на скучную автостраду, на планирующие в воздухе полиэтиленовые пакеты и жалела и себя, и свою мечту, лопнувшую, как мыльный пузырь. Но это разочарование оказалось преждевременным. Как только она вышла из машины на Де ля Ружо, обаяние Парижа прихлопнуло её, как таракана прихлопывает тапок - мягко, не до смерти. В этом полуобморочном, полубессознательном состоянии она оставалась всю неделю, пока жила одна в отеле и собиралась с духом, чтобы ехать к предполагаемому жениху на юг Франции, в город Руэ...

Этим возможным женихом оказался её последний «тамошний» любовник, который один знал о Танином бегстве за океан и умолял её остаться. Но Таньку тогда уже ничто не могло удержать, да и догадывалась она, что такая горькая и сильная любовь случилась у неё с Романом именно из-за знания о её быстротеч-

ности и необходимости грядущей разлуки. Она скрывала от всех своё бегство - из-за суеверия, из-за боязни, что её не выпустят из страны, и её прощание с подругами окажется дешёвым фарсом. По всем законам логики она поступала безрассудно и не хотела выслушивать ничьей критики и охов-ахов... Роман был её соседом, они виделись каждый день на лестничной клетке, но для неё он, чужой муж, как бы не существовал. Судьба распорядилась так, что жена сбежала от Романа с артистом из заезжего болгарского цирка, Роман как-то случайно помог Таньке донести до квартиры тяжёлую сумку с картошкой, попросился на чай, рассказал ей о суке-жене, а она, проникнувшись к нему доверием, о своей грядущей эмиграции. Он стал ей помогать - она продавала кое-что из мебели, нужно было найти покупателя на квартиру, ведь не могла же она ехать в никуда абсолютно без денег, а она твёрдо решила не возвращаться. Роман был её доверенным, единственным другом в то тяжёлое время и как-то незаметно они очутились в одной постели. Он умолял её остаться, стать его женой, но она понимала, что это просто иллюзия, и что если бы она не уезжала, их связь была бы примитивной интрижкой, а скорее всего, она, художница, никогда бы не сблизилась с простым работягой, каким был Роман, несмотря на его мужскую привлекательность. Но он скрасил горечь её последних дней перед отъездом, скрасил бессонные ночи в пустой разграбленной квартире, ему одному она открылась - даже подруги не догадывались, что скоро навсегда потеряют Таньку...Он провожал её, и они ехали на вокзал поздним вечером в обледенелом январском троллейбусе, в котором невозможно было сесть на промёрзшую скамейку, а руки прилипали к металлической стойке, и она держалась за его куртку, и плакала, и провертела в заиндевевшем окне маленькую дырочку, чтобы в последний раз запечатлеть в памяти улицы любимого города - но за окном простиралась ночь, и лишь редкие фонари отбрасывали жёлтые круги света на фиолетовые сугробы, и ничего не было видно. А потом он не хотел уходить из вагона и не терял надежды, что она ещё передумает и останется, и, наконец, проводница вы-

гнала его, и он ещё долго бежал за вагоном, и Танька видела, как он плакал...

И вот через три года он разыскал её в Нью Йорке, позвонил из Франции, куда тоже неожиданно эмигрировал, видимо, вдохновлённый её примером. Роман признался в любви и попросил приехать в целях дальнейшего решения их совместной судьбы. Танька уже переболела эту историю, но, как я уже говорила, из-за неистребимого любопытства и любви доводить сюжетные линии до логического конца, поехала.

Она оставила за собой право провести неделю в Париже одна, чтобы попривыкнуть, акклиматизироваться, настроиться на встречу в чужой стране, да и просто хотелось побыть восторженным бездумным туристом....

Танька, не будем оригинальными, влюбилась в Париж. Она попала под осеннее очарование этого города, сине-бело-золотого, ходила до полного изнеможения по его улицам, каталась по Сене на водных трамвайчиках, шлялась по Монмартру, сидела в маленьких кафешках на улицах, на плетёных стульях под весёлыми тентами, конечно же, как все добропорядочные туристы, посетила Лувр и вознеслась под небеса на лифте Эйфелевой башни. Вечером возвращалась в маленькую уютную гостиницу, поднималась по витой деревянной лестнице под самую крышу - на третий этаж - и была абсолютно, безраздельно счастлива. Конечно, она сразу поняла, что без денег делать в этом городе нечего. Оно, конечно, везде без денег делать нечего, но в Париже это особенно заметно. В Нью Йорке можно найти пути для выживания, а здесь было бы очень обидно и унижительно жить в каком-либо тараканьем квартале на задворках, не имея возможности вот так вот пить вино из тонких бокалов, глядя в окно на нарядную толпу... .Ей рассказывали про одну нью-йоркскую барышню, бывшую петербурженку, которая, на свою беду, влюблялась только в знаменитостей. Так вот она было пригрела одну такую бездомную знаменитость,

музой и кормилицей, а знаменитость поел, попил, написал кучу песен, да и поехал себе с концертом в Париж, а потом телеграфирует - «Извини, дорогая, меня подлые бюрократы обратно в Америку не пускают». Бедная девушка поверила да и помчалась спасать любимого. А он, сука, женат и очень доволен, даже не приютил бывшую подружку. Так вот, говорят, она умудрилась снять на чердаке Монмартра комнатёнку, а в шкаф, в который поместился матрас, пустила жить найденного на вокзале соотечественника. Ела она на базаре, пользуясь своей красотой - арабы, как и грузины, любят красавиц и угощают их бесплатно фруктами, а рано утром можно подобрать на тротуарах выброшенный из булочных хлеб второй свежести, а в метро, оказывается, можно тоже бесплатно пройти... Но на такие подвиги способна только молодость, либо совершенно авантюрная натура...

Татьяне хватило одной авантюрной истории, теперь без комфорта она просто не могла существовать - быстро уставала, много спала и каждый почти час нуждалась в чашке крепкого кофе. ...

Приближался день поездки в Руэ, Роман звонил ей в гостиницу каждый вечер, а наша героиня отчего-то запаниковала. Она боялась разочароваться, боялась принимать решение и в то же время ей очень хотелось жить в Париже, созданном для любви. Эта расхожая фраза здесь обрела конкретные формы-любовью, казалось, был пропитан даже воздух. Везде в обнимку бродили празднующие парочки, на террасах кафе сидели влюблённые, витрины магазинов манили роскошными туалетами, мужчины внимательно разглядывали встречных дам, и Танька наслушалась немало комплиментов. Правда, она их не понимала, но уж восторженные взгляды и восклицания не требовали перевода. Периодически какой-либо особо настырный француз пытался знакомиться, но Таня пресекала все попытки решительной фразой - «No French! Bye!» Это всё было очень странно, ведь в Нью Йорке не принято знакомиться на улице, а тут это было в порядке вещей. И как все женщины - (ну что с них взять!) Татьяна фантазировала: а что, если она сможет жить в этом симпатичном доме

с балкончиками, на которых в горшках цветут красные и розовые флоксы, ходить на ужин вон в то кафе... Потом она вспоминала, как Лимонов описывал в книгах свою бедную парижскую жизнь где-то на неотапливаемом чердаке, и содрогалась..

Ровно через неделю, когда, честно говоря, она уже подустала от одиноких бесцельных блужданий по Парижу, скоростной поезд мчал её на юг Франции, в город Руэ..

Роман встретил её на вокзале с огромным букетом роскошных роз. Цветы помогли скрасить неловкость первых минут встречи - она просто уткнулась носом в их колючую пахучесть, наслаждаясь цветом и ароматом и пытаясь скрыть своё разочарование. Роман не вызвал у неё никаких эмоций - как будто бы это не его она ждала с нетерпением с работы, как будто бы не с ним она лежала, обнявшись, возле окна, с которого уже были сорваны шторы и в которое смотрела огромная, холодная и бездушная луна, как будто бы не с ним она целовалась в промёрзшем троллейбусе, глотая слёзы....Это был совершенно чужой человек, лицо которого было ей смутно знакомо, с ним были связаны воспоминания, и эти воспоминания всё ещё были болезненны, но теперь она не верила, что любила его - несмотря на то, что он «офранцузился», в нём проступили и закаменели черты практичного, твёрдо стоящего на ногах человека, в то время как там эти черты ещё только наклёвывались, но там это её умиляло, а сейчас вызвало глухое раздражение...

Ему тоже было неловко, он сильно волновался и пытался это скрыть за нескончаемыми рассказами о своих достижениях - ходит на бесплатные курсы языка, получает пособие как политический беженец, продукты дешёвые, Испания рядом - в сорока минутах езды, а в Андорру (мини-государство) он ездит покупать беспошлинные сигареты и спиртное. Бутылка коньяка «Наполеон» стоит два доллара - это же невозможно представить себе такое!

Танька рассеянно слушала, придиричиво рассматривая город Руэ из окна автомобиля, примеряя на себя комфорт и красоты места, куда, возможно, она переселится из-за своей неистребимой

жажды новизны. Отбросив все призванные привлекать туристов достопримечательности - замок короля Ричарда, крепостные стены, пальмы на фоне заснеженных Пиренеев - она пришла к выводу, что город так себе. Мал. Современно-средневековый центр со старинными мощёными тротуарами и роскошными бутиками быстро закончился, и машина мчала их мимо скучных двухэтажных коттеджиков, в точности повторяющих друг друга, к гряде серых пятиэтажек. Поражало обилие арабов - по тротуарам мелко семенили закутаные в чёрное женщины, мужики все были в бородах и белых шароварах, детишки крикливы и грязны.

Почему-то стало так скучно, как будто она с головой окунулась в сонное болото провинции, из которого с таким трудом выдралась три года назад. И все три недели, пока она гостила у Романа, её не отпускало это чувство тоски и заброшенности, бытия на краю света. Когда-то, в подростковом возрасте, она любила ходить на вокзал. Там она подолгу стояла на мосту, перекинутом через железнодорожные пути, вдыхала дым проходящих паровозов, и их пронзительные гудки вызывали у неё жажду куда-то идти, ехать, смотреть, путешествовать... Только бы выбраться из этого города, где козы пасутся на окраинах, а осенью непролазная грязь, где скупо горят фонари, а в подъездах пахнет кошачьей и человеческой мочой...

Она восхищалась сменяющимися с быстротой калейдоскопа картинками - Роман показал ей весь юг Франции и Испанию. Красота была необыкновенная, и часами она таращилась из окна автомобиля на стада сытых коров и овец, на привольные поля, холмы и дубравы, на крепостные стены, каменными зубцами вспарывающие розовое небо. В Биарицце они пили кофе в маленьком полутёмном кафе и кормили хлебными крошками чаек на пустынном в это время года пляже, в Каркасонне облазили все затаённые уголки законсервированного средневекового города-музея, в Сан-Себастьяне искали обувной магазин - у неё порвались туфли. Там же совершенно случайно наткнулись на маленькое кафе, в меню которого было написано «Салат по-

русски», и это оказался салат «оливье», который они с восторгом съели. В маленьком испанском городке в кафе в два часа дня играла гармонь, сидели абсолютно пьяные мужики, разглядывая их, как инопланетян... Опытным взглядом кошки, выискивающей место ночлега, Танька выхватывала из красот европейской жизни приметы оседлости и бедности - и облупленную штукатурку пастилково-розовых сахарных домиков, и развешанные вдоль стены простыни, и взгляды местных жителей, в которых явственно проступала тоска людей, погрязших в рутине огородно-провинциальной жизни и провожающих завистливыми взглядами их, свободных и весёлых путешественников... И ей ни разу не захотелось остановить картинку этого безумного калейдоскопа местечек, городков и деревушек. Казалось, стоит ей осесть в любом из этих живописных мест, как она, так же, как и в детстве, будет ловить слухом волнующий гул автострады или паровозные гудки, чтобы уехать куда-то далеко, далеко... Но она, конечно, понимала, что дело не в месте, в котором живёшь, а в ней самой... И странно, она начинала скучать по Нью Йорку, этому каменному острову, густо утыканному стеклянными небоскрёбами, в котором переплелось множество культур, народностей и образов жизни. Только в Нью Йорке можно жить так, как тебе хочется... Только из Нью Йорка, города, которому обещана скорая гибель в пучинах волн, ей не хотелось бежать от самой себя на край света...

В багажнике машины хозяйственный Роман держал корзину с провизией - хлеб, кусок ветчины, апельсины и бутылка вина в плетёной сетке. Часто они устраивались на привал в каком-нибудь уединённом живописном месте - Роман выносил складной столик и стулья, пластиковые стаканчики, магнитофон, и они устраивали настоящее пиршество на фоне гор и мрачных замков, распугивая птиц хриплым голосом Сукачёва... На одном из таких привалов Роман сделал ей предложение руки и сердца...

Тут я покину свою героиню, оставив читателю простор для фантазии. В этом месте испытываю странную робость, как буд-

то придуманная мною история имела место, и вынесенный мною вердикт и будет окончательным решением Танькиной судьбы. Я не рискну познакомить её ни с французским графом, я не устрою ей с Романом автокатастрофу в Пиренеях в тот момент, когда она дала согласие быть его женой, я не хочу выстраивать душераздирающую сцену прощания на вокзале города Руэ - пусть эта история останется незавершённой, и каждый домыслит её по собственному желанию. Пускай беспокойные души носятся по свету в самолётах и автомобилях в поисках покоя и счастья - я не буду им мешать, у меня полно других забот...

ДЕДА ЛИЛЯ

Мужчина средних лет и с мрачным выражением чёрных глаз медленно шёл по улице. На дереве сидела серая неопрятная, точно половая тряпка, птица. Дорогу перебегала грязная взъерошенная крыса. Резко затормозил автомобиль, сдирая колёсами с шершавого асфальта тонкие полосы визжащего звука. В кафе было темно и тихо. Он сел за столик у окна и тяжёлым взглядом уставился на седого толстяка, который жадно поглощал картофельное пюре. Серые пельмени развалились в бульоне на рваные кусочки. На тарелке пухлым розовым червяком скорчилась варёная сосиска.

По улице шагала мужеподобная женщина. Короткие редкие волосы, крашенные в коричневый цвет. Длинный горбатый нос, который шевелился, когда она шумно втягивала в плоскую грудь очередную порцию сырого воздуха. Маленькие карие глазки; кожная бородавка оседлала переносицу, отчего женщина выглядела мрачной. Она была в узких чёрных вельветовых брюках, что ещё больше усиливало её мужеподобие. За ней плёлся на поводке толстый рыжий пёс. Ученики боялись её как огня и за глаза звали дедой Лилей.

Деда Лиля встала на одно колено перед лежавшим на спине мужчиной средних лет и осторожно похлопала его по щекам. Он медленно открыл чёрные глаза. Над женщиной повис серый крокодил, жадно раскрыв узкую пасть.

– Вы... вы живы? – спросила она с тревогой в голосе.

Рядом с ней стоял толстый рыжий пёс.

– Вроде... вроде жив, – ответил он и улыбнулся: пёс чем-то был похож на женщину. – Ваш?

– Мой, – кивнула она и крикнула: – Пампусик, ты куда? Назад!

Пёс вернулся к ней и, шумно сопя, лёг на траву.

– Вообще-то он Тайгер. Когда был щенком, так и звала его Тайгером. А сейчас, когда растолстел, никакой он не Тайгер, а просто Пампусик. Милый, пухленький Пампусик! – торопясь, громко говорила она. – А меня мои ученики дедой Лилей зовут, за глаза, конечно, – неожиданно для самой себя доверительно сказала она и после короткой паузы нерешительно рассмеялась, поглядывая на него, взглядом приглашая посмеяться вместе с ней.

Да, она и впрямь похожа на старика, подумал он, а сам после небольшой паузы медленно произнёс: «Какие глупые дети! И совсем вы не похожи... на... на пожилого человека». А крокодил уже вот-вот проглотит её. Он едва слышно сказал:

– Деду Лилю съело небо.

– Что? Что вы сказали? – растерялась она.

– Деду Лилю съело небо, – повторил он и улыбнулся.

Она, немного подумав, нехотя засмеялась.

Прошло три часа. Деда Лиля сидела в кресле и держала в левой руке телефонную трубку.

– Сегодня какой-то идиот на моих глазах сводил счёты с жизнью, – говорила деда Лиля.

– Это как? – спросила трубка женским голосом.

– Ну, стоял-стоял на мосту, а потом бросился вниз головой в реку... А я гуляла неподалёку и всё это видела.

– Погиб? – с затаённой надеждой спросила подруга.

– Жив! – выдохнула деда Лиля и, немного помолчав, продолжила: – Там мелко было... Он сам вылез на берег, а потом от шока потерял сознание. Я его в чувство привела...

– Ну и дура! – с досадой рявкнула трубка.

– Знаю, – покорно согласилась деда Лиля и неожиданно громко выпалила: – Деду Лилю съело небо!

– И правильно сделал! С чем тебя от всей души и поздравляю, – сердито ответила подруга и разразилась короткими гудками.

Деда Лиля печально вздохнула, бросила трубку, встала, включила допотопный проигрыватель, поставила пластинку; звонкие детские голоса заполнили комнату: «В юном месяце апреле в ста-

ром парке тает снег, и крылатые качели начинают свой разбег...». Она подошла к окну, распахнула его и с высоты девятого этажа с ужасом посмотрела вниз... Взмывая выше елей, не ведая преград... Воздух, сырой и тяжёлый, крохотные фигурки людей... крылаааааааатые качели летят, летят...

ПОЧТАЛЬОНЫ

Гудел чайник на газовой плите. Ольга Петровна, пожилая одинокая женщина, смотрела в окно, дожидаясь, когда закипит вода. Звонок в дверь.

– Да иду же я! Кто там трезвонит ни свет, ни заря?

На пороге топтался мужчина в засаленной шляпе.

– Заказное письмо. Пожалуйста, распишитесь! – протянул большой чёрный конверт.

Ольга Петровна осторожно взяла конверт и воскликнула:

– А здесь же не написано, кому...

Мужчина растерянно пробормотал:

– Извините...

Она вернулась на кухню. В дверь снова позвонили.

– Здравствуйте! Вам заказное письмо, – произнесла молодая женщина в сером пальто.

– А почему вы решили, что это мне? – спросила Ольга Петровна, – Здесь же нет моей фамилии.

Женщина молча забрала конверт и ушла. Ольга Петровна пожалела плечами и вернулась на кухню. Стук в дверь. Восемь. Это не Коля. Рано ещё. Пятилетний Коля живёт в соседнем доме, мать – алкоголичка, отчим часто бьёт его под пьяную руку. Мальчик каждое утро в девять, когда мать уходит на работу, прибегает сюда. Ольга Петровна кормит его, а потом рассказывает сказки и учит читать.

– Всё! Надоели! Не буду больше открывать.

Громко и требовательно постучали, словно тот, кто стоял за дверью, услышал её слова. Ворча, поплелась в прихожую. Сурового вида старуха в старом пальто прижимала к груди конверт.

– А чего сразу не открываем? – строго спросила она и решительно шагнула в прихожую. – Включи свет, а то ни черта не видно.

Хозяйка потянулась к выключателю и в испуге отшатнулась. Почтальонша как две капли походила на неё. Старуха криво усмехнулась и пробормотала, протягивая конверт:

– Письмо тебе.

– Мне?

– Тебе, тебе, кому же ещё.

Ольга Петровна с нетерпением вскрыла конверт с коряво выведенным её именем.

– Да... но пусто же...

– А ну, собирайся да побыстрее! Пойдёшь со мной! – вдруг грозно рывкнула старуха. – Недосуг мне с тобой тут рассусоливать!

Почтальонша выпрямилась, глаза её повелительно сверкнули. Ольга Петровна сильно испугалась, почувствовала, что старухе нельзя перечить.

– Я... я сейчас, – покорно ответила и поплелась в спальню.

Переодевшись, с тоской оглядела комнату, вернулась в прихожую, печально вздохнула и еле слышно вымолвила:

– Я готова.

Старуха молча повернулась и потопала вниз, бодро ступая по грязным ступенькам. Ольга Петровна последовала за ней, осторожно шагая и хлюпая носом. На улице – морозно.

– Лето же ещё было, когда я в квартире сидела, – робко заговорила Ольга Петровна, уткнувшись испуганным взглядом в спину почтальонши. – Теперь вон какая холодина! Можно, я вернусь? Пальто возьму и сразу же назад...

Старуха нервно передёрнула плечами и отрицательно покачала головой.

– Ну, нельзя так нельзя... без пальто как-нибудь обойдусь.

Они подошли к автобусной остановке. Вскоре подъехал выдавший виды пазик. Почтальонша велела ей подняться в салон. В автобусе уже находились пассажиры: двое мужчин и две женщины. В мужчине Ольга Петровна сразу признала почтальона, который

приносил сегодня конверт. Рядом устроился его двойник – только он был без шляпы и кутался в старый плащ.

Женщины тоже были похожи друг на друга. Та, что звонила ей в дверь, была по-прежнему в сером пальто. Около неё восседала надменная дама в мехах и бриллиантах.

В автобусе мужчина с бегающими глазами повернул голову к почтальону и тихо спросил:

– А куда нас везут?

В ответ последовало ледяное молчание.

– А вы не знаете, мумии не пострадали во время беспорядков в Египте? – сказал толстяк и съёжился под холодным взглядом своего двойника.

– У меня дом из тридцати комнат, зимний сад, дорогие автомобили, – громко произнесла дама и поправила причёску, сверкнув бриллиантами на тонких пальцах.

Почтальоны насмешливо переглянулись, сохраняя молчание.

– Куда вы меня везёте? Вы не имеете права! Мой муж влиятельный человек! – кричала дама, размахивая руками.

Старуха отвела взгляд в сторону и неожиданно скрипуче расмеялась.

– Это мне просто снится, – надменно объявила дама. – Ничего, скоро я проснусь, и этот кошмар, и вы все... всё, всё уйдёт в прошлое.

За окном мелькали многоэтажные дома, вот проехали старый парк, миновали кладбище. Автобус мчался по загородной трассе. Мужчина с бегающими глазами сник и сидел, безвольно опустив голову.

Ольга Петровна думала о Коле... Кто же его накормит сегодня? Кто вообще кормить его будет? Учить читать и рисовать? Никому он не нужен, этот худенький мальчик с добрыми и умными глазами... Посмотрела на наручные часы. Девять. Представила себе, как малыш стучит кулачками в её дверь, и тоска сдавила сердце.

Автобус остановился на берегу замерзшего озера.

– Приехали! – объявила старуха. – Наша остановка.

Все вышли из салона.

– Можете идти, – сказала старуха, обращаясь к Ольге Петровне, даме в бриллиантах и толстяку с бегающими глазами и показала на озеро. – Дорога домой начинается отсюда.

Дама взвизгнула:

– Лёд тонкий. Я же утону... Вы не имеете права!

Толстяк с ужасом смотрел на озеро. Вдруг он метнулся вправо и побежал к лесу, синевшему вдали.

– Куда ты? – попытался остановить толстяка его двойник. – Немедленно вернись!

Взметнулась снежная пыль, укутавшая беглеца. Пыль рассеялась, а толстяк бесследно исчез, как будто его и вовсе не было.

– Убедились, что бежать бесполезно? – зловеще крикнула старуха. – От себя разве убежишь? Ну! Кто первый?

Ольга Петровна сделала несколько осторожных шагов. Лёд угрожающе захрустел. Мысль о Коле, который ждал её у дверей квартиры, придала силы. Она уверенно шагнула домой, к голодному ребёнку. О, чудо! Она прошла несколько метров, с радостью ощущая под ногами надёжную прочность ледяного моста.

За спиной послышался звонкий треск и отчаянные женские крики. Ольга Петровна обернулась, дама провалилась под лёд и билась в полынье. Ольга Петровна побежала назад, чтобы помочь, но дама, ещё немного побарахтавшись, исчезла под чёрной водой.

Почтальоны молча стояли на берегу.

– Иди уж! Она своё получила. А ты иди, – громко сказала старуха и махнула рукой в сторону противоположного берега.

Ольга Петровна быстро зашагала по твёрдому льду домой, к Коле.

ПУСТЫЕ НАДЕЖДЫ

Выйдя с работы, я сразу зашла в метро. Вопрос, куда идти, передо мной не стоял – я всегда после работы иду домой. Сделав привычную пересадку, я вышла на своей станции и спокойной походкой пошла к своему дому. Он у меня совсем рядом с метро, и, даже если холодно, я иду медленно, чтобы успеть подышать свежим, насколько это возможно в Москве, воздухом.

Дойдя до подъезда, я уже достала ключи, как вдруг услышала за своей спиной:

- Ха!

Так обычно делал Малик, то ли желая меня напугать, то ли рассмешить – я никогда не понимала.

Я обернулась в ту же секунду – конечно, это он. Стоит, улыбается, рот до ушей. Странная стрижка ему совсем не идет, как выяснилось потом, это была вовсе не стрижка, просто он побрился наголо. Худой, страшный, почему-то потемневший.

- Как дела?

- Нормально, - я делаю новую попытку открыть дверь, но рука Малика уже легла на нее и даже не дает мне потянуть за ручку. Соперничать с ним, а тем более с тяжелой, еле-еле открывающей дверь, мне не под силу, и я убираю ключи.

- Рада тебя видеть, - вежливо говорю я.

- Я тоже, - говорит все еще улыбающийся во все лицо Малик. – Не боишься ходить ночью одна? Могут украсть.

- Да неужели... - начинаю я, но закрываю рот, потому что Малик берет меня под мышку одной рукой и несет к своей машине.

- Уже краду!

Поставив меня на землю около машины, он снова радостно ухмыляется.

Что думать и как отвечать этому образцу вежливости, я не знаю, поэтому лишь выразительно на него смотрю.

- У вас на Кавказе нельзя красть девушек, - наконец вспоминаю я. – Придется жениться.

- А я что, против?

Покачивая головой, я снова укоризненно смотрю на него. Ну вот что ему надо? Три месяца не вспоминал обо мне и вот – стоит. Чего он хочет? Ответ приходит сразу же и мне не нравится. Кажется, этот этап моей жизни – бунтарства и доказывания чего-то самой себе – у меня уже закончился. Малик интересный человек, если с ним удастся поговорить, но вот именно – если удастся.

- Садись в машину, - приказывает он и, не открыв мне дверь, идет на место водителя.

Я немного стою для приличия – а вдруг выглянет и пригласит сесть еще раз? - и сажусь в машину.

Дверь противно громко хлопывается за мной. Неужели нельзя поставить ограничитель? От этого звука наверняка просыпаются все соседи на ближайших этажах.

Я вызвала лифт и принялась додумывать историю дальше.

Ну вот, значит, сажусь я в машину... Дальше шел разговор на грани флирта, а потом он пригласил меня прогуляться на следующий день в парк, а потом на Поклонную гору, а потом в кино, а потом в театр, а потом...

Лифт остановился на моем этаже, и мне пришлось расстаться со своими мыслями. Честно говоря, от Малика ничего, кроме одного типового предложения, не дождешься, да и то оно бывает, когда рак на горе свистнет. Я закрыла за собой дверь и прислонилась к ней. А ведь у кого-то бывает... Все бывает. И театры, и кино, и свидания при луне, и цветы, и катания на машине по ночной Москве, и первые нежные поцелуи – обязательно нежные, а не такие, как будто тебя хотят съесть прямо здесь и сейчас.

Да, все это бывает. У кого-то там. У каких-то непонятных девиц, у которых ни лица, ни ума, и разговаривать тебе с ними не о чем, а вот поди ж ты – кто-то захотел с ними не только разговаривать пару недель, а вообще – всю жизнь. А потом у них бывает все

то, к чему стремится каждая нормальная женщина в мире – семья, дети. Только такие заумные особы, как я, чего-то ждут, ждут...

Хотя нет, ничего не ждут. Им никто и не предлагает. Вот им и остается просто жить. И они живут. Ходят на работу – домой. На работу – домой. На работу – домой...

Иногда ходят в это самое кино. Очень редко – с подругами. Еще реже – одни. Ходят в кафе – очень часто одни. Ходят на всякие курсы – повышения квалификации, иностранных языков, рисования, вышивания, танцев живота, на всякий фитнес. Чего только не сделаешь, лишь бы избавиться от этого... от одиночества.

И, лежа вечером в постели, я додумываю свою историю. Конечно, она со счастливым концом. Малик забирает меня с работы, и все видят, что у меня – у закоренелой неудачницы в личных отношениях, - есть такой классный, такой потрясающий парень...

Сегодня воскресенье. Я обожаю ездить в метро утром в воскресенье - народу практически нет. Как бы мне хотелось сейчас вместо работы поехать за город, ведь там наверняка есть снег. А какая же русская зима без снега? Вот и я соскучилась.

У кого ни интересуюсь, все в один голос твердят – да, хотелось бы снега. И все, как один забывают, что, когда снега много, то дороги становятся непроходимыми, что водители застревают в пробках, что невозможно спокойно идти по улице – ноги все мокрые и вязнут, вязнут в пушистом снегу, шапки, варежки – все мокрое и холодное. А бедные модники, что ходят без головных уборов даже зимой? Мне всегда становится интересно, что они делают в снегопад?

Конечно, за городом лучше. Там снег уже не помеха, он – атрибут веселья. Им можно кидаться, на нем можно валяться, можно кататься на санках с горы – если у вас есть где-нибудь холмик – то с него. А еще можно гоняться друг за другом с криками и смехом и, даже если вас кто-нибудь поймают, и вы с ним упадете, вам не будет больно.

Малик бы так сделал, я уверена. Он бы обязательно стал за мной гоняться, а я бы специально убегала от него, чтобы ему еще больше хотелось меня поймать. А потом бы он меня поймал и упал бы сверху. Нарочно, конечно. И потерялся бы об меня своей холодной и колючей щекой, а я бы смеялась и отталкивала его, а он бы все равно придавливал меня к земле и держал бы меня, чтобы я не сильно его отталкивала. А потом бы он посмотрел на меня близко-близко, и я бы увидела себя в его зрачках... - фу, так только в любовных романах пишут. Нет, надо вот так: а потом бы он посмотрел на меня близко-близко, и я увидела бы, что он хочет поцеловать меня...

И сразу вырвалась бы. Как можно! Раньше он целовал меня, и я теряла от этого голову, но теперь... Мне мало того, что он предлагает. Я выросла и хочу больше. Я поняла, к чему нужно стремиться.

И я бы ему сказала:

- Нет.

- Что - нет?

- Не целуй меня.

- А я и не хотел.

Конечно, он обязательно так скажет. А потом хитро улыбнется, и-и-и как повалит меня борцовским захватом обратно! И начнет целовать куда попало – в глаза, нос, во все лицо. Потом посмотрит на меня и улыбнется, счастливый, что я задыхаюсь под ним. Он же чувствует, знает, когда он мне нравится и когда я таю перед ним. А я чувствую – еще немного, и я сама попрошу его поцеловать меня. Он еще немного дразнит меня, а я уже не могу терпеть – в голове туман и хочу только одного – чтобы его губы накрыли мои... Ну почему, почему он встает? Мужчины или очень глупые, или очень умные. Я пока не могу понять, к какой категории отнести Малика.

Он встает, отряхивается и говорит через плечо:

- Хочу есть.

И идет по направлению к своей машине. Ну, настоящий неандерталец! О господи, и что я в нем нашла?

- Ты хочешь есть? – бросает он через плечо, и я вижу, что даже у современных неандертальцев есть инстинкты, один из которых требует – накорми самку, иначе у нее не будет сил ни на что...

Я покорно догоняю его, по пути стряхивая снег. Эх, если бы рядом со мной был кавалер девятнадцатого века, то он точно помог бы мне привести себя в порядок. Впрочем, он бы и не довел меня до такого состояния, чтобы понадобилось приводить меня в порядок.

Это я домысливала уже на работе. Вообще очень интересно иметь вот такого персонажа, про которого можно придумывать всякие истории. Работы сегодня нет, вообще – одно сонное царство. Только изредка раздается:

- Кто-нибудь будет пить чай?

И тогда мы все выползаем из-за своих рабочих столов и идем пить чай с чем-нибудь, у кого что есть. Обычно это «что» бывает только у одной сотрудницы, и все ей за это весьма благодарны. На несколько минут коллектив оживляется, но через полчаса уже снова – засыпаем в своих твиттерах.

Набираю в «контакте» имя друга и потом, через него, захожу на страничку Малика. Его нет в моих друзьях – я не могу заставить себя нажать на кнопку «добавить в друзья». А вдруг он отвергнет меня? А вдруг даже не вспомнит, кто я такая? Смотрю на его фотографию – какой-то он здесь несимпатичный, хотя и в жизни красотой не блещет. Еще раз поражаюсь тому, что я в нем нашла, и почему думаю о нем день и ночь. Читаю записи на его стене, просматриваю список музыки – нет, мне не нравится такая. Посмотрев еще раз на его фото, ухожу с его страницы. Мне там нечего делать. У него там оставляют отметки девицы с такими откровенными фото, что мне становится неловко за себя – такую неуклюжую и некрасивую. Конечно, на их фоне я давно потерялась. Особенно от того, что не умею поддерживать общение с ним. В последний раз, когда мы виделись, он чуть не накричал на меня. Какой-то он нервный. Вот и хорошо, что я с ним не общаюсь.

Успокоившись, я начинаю читать одного из своих самых любимых писателей – Нодара Думбадзе, пока не сознаю – я читаю Думбадзе, чтобы быть ближе к нему, к его культуре. О Малик! Что же мне сделать? Как перестать думать о тебе?

День постепенно подходит к концу, и вот я уже смотрю на часы на телефоне. Входящий звонок раздается так неожиданно, что я чуть не роняю телефон. Незнакомый номер? Кто же это может быть? Малик?

- Да? – говорю я осторожно, потому что у моего телефона свенравная кнопка: хочет – отвечает, не хочет – не отвечает. Только бы не сбросилось!

- Розанна? – нет, это женский голос. – Здравствуйте, вы записаны на стрижку завтра, не забыли?

- Хеет, - со вздохом протягиваю я.

Зачем мне стрижка? Зачем маникюр? Педикюр? Зачем мне красить ногти на ногах зимой? Их никто не видит. Зачем мне покупать красивое белье, с которого не сняты даже этикетки – оно вот уже полгода лежит в моем шкафу. Малик не звонит мне. Я не звоню ему.

После работы снова одна иду домой. Вроде бы темно, но совсем не так, как у меня дома. Мама всегда волнуется, что я выхожу с работы в семь. Они там ложатся спать в девять часов, семь у них – это глубокий вечер. А у нас – жизнь только начинается. Можно зайти в торговый центр, посмотреть что-нибудь из одежды. Я не покупала себе новых рубашек вот уже месяца два. Это долго. Надо посмотреть.

Поднимаюсь по эскалатору и вдруг сталкиваюсь... с Маликом. В недоумении не знаю, что сказать.

Он тоже удивлен:

- Привеет, - протягивает он в своей привычной манере и наклоняется, чтобы поцеловать меня в щеку. Я машинально подставляю ему лицо. Снова колючая щека, аромат его любимой туалетной воды, который держится на моей одежде несколько дней. Я не знаю, что это за запах. Только в последнее время я привыкла

к нему и не реагирую так остро, встречая на других мужчинах. Раньше не могла стоять рядом с ними, все казалось, что Малик где-то рядом.

- Гуляешь?

- Да, - лепечу я. – Хотела пройтись по магазинам.

- Это не для меня, - говорит он, а мне так хочется, чтобы он прошелся со мной, и я не знаю, что сказать, что сделать для этого.

- А ты что здесь делаешь? – резко спрашиваю я, расстроенная его грубым ответом.

- Да так, по делам.

Вот такие они – современные успешные мужчины – никогда не говорят с посторонней женщиной о своих делах. А я посторонняя... Я это чувствую. Надо мило улыбнуться и попрощаться.

Он смотрит на меня, я смотрю на него. Наконец беру себя в руки и первой – это очень важно, что первой – говорю:

- Ну пока! Была рада тебя видеть. Мне надо идти.

- Да, пока, - говорит он как-то скомканно, и мне хочется остановиться, чтобы дать ему шанс исправиться. Ну пригласи же меня куда-нибудь! Ну скажи – давай посидим в кафе, куда спешишь?

Но Малик огибает меня и становится на эскалатор, едущий вниз. Я знаю, мне нельзя провожать его взглядом, и поэтому я иду вперед, не оглядываясь. И знаю – он не смотрит мне вслед.

Додумав столь печальную историю, я заглянула в пару привычных для меня магазинов, где можно найти мой маленький размер, но покупать мне расхотелось. Зачем? Для чего наряжаться? На работу можно ходить и в том, что есть, благо всего достаточно.

Я спустилась в продуктовый супермаркет, чтобы утешить себя чем-то вкусненьким. К тому же, дома у меня нет повара, и поэтому нужно купить заодно что-нибудь на ужин и на завтрак. Хорошо, что придумали продавать готовую еду. И вдруг вспомнила, как мы с Маликом взаправду ходили в точно такой же магазин однажды вместе...

Нет, пожалуй, я не буду сегодня делать никаких покупок. Дома есть молоко, этого вполне достаточно на сегодня. А завтра... а завтра что-нибудь куплю утром к чаю и все.

А завтра – выходной. Я даже забыла об этом. Придя домой и выпив молока, я принялась просматривать свою почту. Кто же мне пишет? Никто. А, есть одно письмо от давней подруги. Мы с ней пишем друг другу длинные письма время от времени. Может, быть, когда-нибудь они войдут в литературу, как письма сестер Остен?

От дум о Малике я на сегодня отказалась. В этом мне помогает мой верный друг – теннисист Рафаэль Надаль. Мои друзья смеются надо мной, шутят на тему, как я выйду за него замуж, а мне все равно. Главное, что Рафаэль помогает мне не думать о моей неудачной жизни, той, которая идет прямо сейчас, в эту самую минуту. Но нет, его следующий турнир только через месяц, что же я буду делать без него?

Еще одно средство – мой любимый писатель Даррел. Читать его можно бесконечное количество раз, и он никогда не надоест. Читая его книги, будто начинаешь жить его жизнью, и тебе неважно, кто ты, с кем ты или, может, ты вообще ни с кем. Ты – другой человек. У тебя совершенно другие планы на жизнь. Тебе нужно спасти так много живых существ от исчезновения, когда думать о своей собственной жизни? Даррел тоже не думал. У него не было детей. Его детьми были животные, которых он спас.

Может быть, через несколько лет, когда у меня будет достаточно денег и будет собственный дом, я усыновлю ребенка. Я думаю об этом время от времени, ведь у меня нет кавалера и нет качеств, чтобы занять его. А без кавалера нет замужества, а без замужества нет детей. Или просто без кавалера нет детей. Все-таки я не безумная викторианка.

И вот я усыновлю ребенка. Лучше девочку. Почему-то мне кажется, что мы с ней станем подругами. И как-то поедем с ней в... например, в Испанию. И на самолете встретим... Малика. У него сестра в Испании.

А дочка будет вся в меня – темноволосая, темноглазая. Малик такой же. Как бы мне хотелось бы посмотреть на его лицо тогда! Неужели он ни на секунду не подумает, что это может быть его дочь? Ведь по возрасту вполне подходит? И по внешнему виду тоже...

И он опешит сначала, а потом спросит:

- О! Ты вышла замуж?

А я скажу:

- Нет. Не вышла. Знакомься, это моя дочка. Изабелла.

А моя девочка протянет ему ручку, и он возьмет ее в свою и скажет:

- А где же твой папа, Изабелла?

А Изабелла улыбнется ему своими зубиками и отвернется. Да, Малик через три года станет еще мужественнее. И его супермужественный вид действует не только на меня, но и на маленьких девочек. Но я-то уже охвачена чувством материнства, на меня эти штучки временно не действуют, поэтому я покрепче обниму свою крошку и скажу:

- Я сделала искусственное оплодотворение.

И улыбнусь.

А по времени-то как будто сходится. А Малик он такой – он все помнит, у него все посчитано. Он посмотрит на меня таким испытующим взглядом, чтобы я раскололась – его или нет? Но я буду тверда, как камень, и ничего не отражу на своем лице. Но он все равно улыбнется и протянет руки к Изабелле еще раз.

- Хочешь посидеть у дяди на руках?

Изабелла – вот предательница, лезет к нему на руки. Малик о чем-то лопочет с ней, играет.

Я успокаиваюсь. Нет, он не намерен отнять ее у меня... Вообще никто не отнимет ее у меня... Кроме ее родных родителей, которые бросили ее, когда она только родилась. Никто не брал ее, потому что она все время болела. Ей было уже полтора годика, когда я пришла в первый раз в этот детдом. Мне показали всех, а про Изу сказали – у нее есть родные родители, если возьмете ее, в один прекрасный день ее могут у вас отнять... А я все равно ее взяла – потому что, как это? А если ее родные никогда не объявятся? Что же, ей всю жизнь так и оставаться здесь? И я ее взяла.

И возьму. Вот только надо купить квартиру и подкупить немало денег...

А Малик... Думаю, он будет прекрасным отцом, если когда-нибудь остановится от своего слишком стремительного бега по жизни и посмотрит по сторонам. Как бы ему не пропустить в таком быстром беге чего-то очень, очень важного, что потом не вернешь ни за какие деньги!

А я иногда действительно боюсь, что у меня не будет детей. У меня никаких перспектив. Но ни от Малика, ни от кого-то другого на самом деле я не жду никаких предложений. Мне спокойно жить вот так: на работу – домой, на работу – домой. Иногда поход по магазинам, иногда поездки к родным. Иногда походы в кино, какие-то маленькие праздники. Иногда я вижу Малика, по-настоящему вижу. Но очень редко. Иногда слышу о нем.

Я знаю, мне нужен другой человек. А какой – пока не знаю. А говорят, пока не представишь его себе полностью, пока не поймешь, кто, какой человек тебе конкретно нужен, он не появится в твоей жизни. Но даже если и появится – как начать с ним разговаривать? Как сделать так, чтобы он захотел и дальше с тобой общаться? И не просто общаться, но еще и встречаться? Я не знаю. Я знаю только один алгоритм жизни: на работу – домой, на работу – домой. Иногда – поход по магазинам, иногда – маленькие праздники...

И иногда – Малик...

ДОЧЕРИ ЕВЫ

Все истории начинаются с «однажды», и история Берты и Моисея - не исключение, - только вот мало кто вспомнит теперь об этом - однажды уходят не только главные герои, но и второстепенные, а также случайные свидетели любых событий.

Любое «однажды» требует интриги, глубокого вздоха, уважительной паузы перед развертыванием полотна, будь то полотно широкоформатное, либо мелкое, малозначительное, с каким-нибудь незамысловатым узором или простеньким сюжетом, - сдвоенные лебединые шеи, символизирующие вечную и верную любовь, либо пестрый горластый петушок, вышитый шелковой нитью по уютной, под бочок, подушечке-думочке, либо умиленно-желтые цыплята, вызревающие на дне глубокой тарелки, предназначенной для блюд сытных, наваристых, с торчащей поллой костью, с плавающими глазками жира.

Ах, эти глубокие тарелки, стоящие столь монументально и надежно на других, плоских, - эти глубокие утятницы и гусятницы, будто некие загадочные полости, наполненные скрепляющим всякую семью веществом. И ходики, тикающие над ухом денно и ночью, покачивающие гирькой, играющие в странные игры - подожди, подожди, - или, - беги, беги, беги.

Эти дома, в которых время подобно развертывающемуся тусклому свитку.

Сервант, в котором крепкие кубики пиленого сахара громоздятся в фарфоровой сахарнице, и щипчики тут же, - предметы, волшебным образом наделяющие всякое действие строгой, значительной и незаметной красотой.

Чего стоят, например, женские руки, открытые до локтей, округлых, с теплой неглубокой ямочкой, либо обнаженные до плеча, пленительно кольшущегося, схваченного нежным жир-

ком, - пальцы, обхватывающие эти самые предметы, - щипчики, сахарницы, тарелки, мельхиоровые ложечки - вдвигающие и выдвигающие различные ящички различного предназначения, - распахивающие дверцы шкафов, - какая восхитительная прелюдия сопровождает все эти нехитрые движения, - все эти поскрипывания, запахи глаженного белья, резеды, разросшейся в глиняном горшке герани.

И слабый, будто напоминание о женском недомогании, об извечной женской слабости, - запах анисовых капель, а еще валериановых, разносящийся по дому исподтишка, словно вторгающийся противник, - он ползет из щелей, вползает в шкафчики, поселяется в трещинах и створках.

В незапамятные времена месячные у женщин были обильными, - куда более обильными и продолжительными, нежели сегодня.

Сложно вообразить, что происходило в Евином доме, когда одна за другой начинали женщины кровоточить. Перед тем проносились по дому неприменные бури, - достаточно однообразные по сути и исполнению, - как правило, начинала одна, а прочие продолжали, виртуозно развивая тему и доводя ее до абсурда, пародии, массовой истерики с заламыванием рук, икотой, обмороками и «показыванием свиных рыл», на что каждая была большая мастерица, в особенности сама Ева.

Одно из рыл было особенно пугающим, - когда оттягиваемые двумя пальцами веки ползли вниз, - обнажая воспаленный испод глаза, а добротный семитский нос становился кабаньим пятакон, - человеческого в этом зрелище было мало, но это-то и следовало из всего предшествующего спектакля. Щипки, затрещины, шлепки, несильные, впрочем, скорее, отрезвляющие. В доме бляели, рычали, хохотали, - все, включая младших детей, охваченных неудержимым приступом веселости, и затихало все так же внезапно, как и начиналось, и, как ни в чем не бывало, усаживалось все семейство за стол и воздавало должное трапезе.

О недомогании дочерей Евы, - дородной, с вывернутыми базедовой болезнью белками горячих глаз. Эти горячие выпуклые

глаза - отличительная особенность женской половины дома. Горячие, томные, сонные и испепеляющие в минуты гнева или страсти, или безудержного желания.

Впрочем, о чем это я?

Неужели возможна страсть в этих скучных домах, в этих тихих комнатах, в которых неутомимая кукушка отсчитывает день за днем, час за часом, в которых ставни выкрашены унылой желтоватой краской, а половицы поскрипывают под человеческой пятой, которая куда тяжелей, нежели, например, кошачья, - кошек в доме немало, - сложно назвать точное число их, - одну из них называют Муськой, а все прочие - производное от нее, либо приблудившееся невесть откуда, - серое, дымчатое, бескостное и бесшумное, - разве только иногда раздражающееся младенческими и женскими стонами, столь понятными обитателям дома.

К кошачьему потомству отношение уважительное, Впрочем, как и ко всему, что множится, стонет, воркует, совокупляется, - каждой твари по паре, - пара - это основание всяческого бытия, - в отличие от бесполезного одиночки, подозрительного в сиром своем бесплодии.

Любое существо должно быть окольцовано и пристроено должным образом. Любое существо обязано выполнять обет, данный однажды, - опять это «однажды», - никто уже не вспомнит того прекрасного дня и часа, когда соединились и стали одной плотью Моисей и Берта, дочь Евы.

Все это случилось так давно, в каком-то ненастоящем прошлом, за чертой которого у каждого из них была какая-то своя, отличная от теперешней жизнь.

Вот тут наше повествование упирается в необходимость вдумчивого внятного сюжета, столь любимого любими почитателями житейских историй.

Все тонет в пышных, отороченных кружевами, подушках и духоте тесных спален.

Женщины, сталкивающиеся по утрам и вечерам на кухне, чаще полны, нежели изящны, - и чаще, увы, шумливы.

Все женщины кажутся различной степени похожести копиями мамы Евы. Ева, давно уже не женское, а совершенно мифологическое существо, не говорит, а сипит, выталкивая из огромной груди междометия.

Массивная, будто богиня плодородия, восседает она на стуле с изогнутой спинкой, - расставив широко слоновьи ноги, зевает, не порываясь прикрыть зевок пухлой желтоватой ладонью. Да, Ева желта и смугла, и так же смуглы все дочери Евы. Все желтокожи и склонны к тревожному разрастанию, - грудей, подмышек, поросших неровным иссиня-черным мхом, - слоеных бедер, аппетитных валиков жира в поясничной области и у основания шеи.

Полнота дочерей Евы - аксиома. И даже младшая, - круглолицая, еще озорная, подвижная, уже по-женски тяжела, хотя тяжесть эта скорей приятна, нежели безобразна, и сулит немало соблазнов обитателям слободки, мастеровому и непритязательному люду, которому после трудового дня требуется наполненная до краев тарелка и теплая широкая постель.

Мужчина, сгребаящий шкварки с чугунного дна сковороды, наливается недюжинной силой, - его пятерня томится по окружности груди, по наполненности ее, - в темноте спальни грудь эта колышется, разваливается под просторной сорочкой на два рыхлых холма. Долина меж холмами ведет в сонное царство примятого валежника, птичьего гнезда, ароматы которого одуряюще резки и ошеломляюще безыскусны, - там, во влажной вязкой глубине, - средоточие смыслов, итог, главный, не подлежащий сомнению приз.

Ночь - царство дочерей Евы.

Там, за плотно прикрытыми дверьми спален, происходит вечное, стыдное, почтенное, законное.

Под тяжелыми перинами, обливаясь жаром, обрабатывают мужа мужское свое предназначение. Трудятся, словно дятлы, с каждым ударом вбивая доказательство и оправдание бытия.

Сама же Ева, раскинувшись на ложе, удовлетворенно прислушивается к богоугодной тишине, в которой визг пружин подобен чарующим звукам небесной арфы.

Счастье.

Кому, как не дочерям Евы, полагается оно, - крикливое, желтушное, дрыгающее ножками и ручками, - любя моя, - сипит Ева, прикладывая к груди то одного, то другого, - всего в доме должно быть в избытке, - все эти кусочки Евиной плоти, - маленькие, сморщенные, они теребят грудь и просят есть.

- Сцеживай, - волнуется Ева, ревниво придерживая детскую головку у груди дочери - ну, кушай уже, кушай, паршивец, - смеется она, любуясь впивающимися ртом, похожим на миниатюрный поршень, - всплывающим поплавком соска, - огромным, коричневым, покрытым незаживающей коркой.

Корка смазывается подсолнечным маслом из темной бутылки, - тем маслом смазывается и детская головка. Тусклые взерошенные волоски растут низко надо лбом, - и все это грозит стать медвежьим, избыточным, ее, Евиной породы.

Уперев руки в массивные бедра, озирает Ева пастбища свои, но сердце ее беспокоит.

- Берта, - вопит она истошно, - Берта, ты видишь, Берта? Что ты молчишь?

Берта молчит, - молчит, потому что об этом не принято говорить в почтенном доме.

О ценах на рынке - пожалуйста, - о родовых травмах и молокоотсосах - сколько угодно, - о том, чем и как кормить мужчин, - сколько каленой гречки и укропа полагается есть кормящей матери...

О средствах от недержания, от запора, поноса, золотухи и сухотки.

И только об одном. О главном.

Об этом не принято не только говорить, но даже думать.

Берта и Моисей не спят вместе, - то есть, они спят, укрываются одним одеялом и вдыхают один и тот же воздух, - вдыхают и выдыхают, вдыхают и выдыхают, но ...

Берта и Моисей спят, будто дети, обнявшись крепко, они видят разнообразные сны и утром, смеясь, рассказывают друг другу не-

былицы, - и все бы хорошо, - но от дружбы, даже самой крепкой, между мужчиной и женщиной, не бывает детей.

- Горе мне, - сипит Ева, за что мне такое наказание, - позор на мою голову, - она принимается раскачиваться, посыпая себя воображаемым пеплом, ударяя по тугим щекам и выдерживая пружинки жестких волос.

От дружбы не бывает детей. Эти двое сидят за столом и улыбаются, как дураки, а по субботам гуляют в парке и катаются на карусели.

- Карусель, - пышет гневом Ева, - та еще карусель.

Карусель, это когда мужчина знает свое мужское, а женщина - женское.

Где та тайна, которая швыряет мужчину и женщину в объятия друг друга? Где таинственный механизм, священная печать, которая скрепляет и благословляет ежедневное нахождение в одном помещении, все эти зимние и летние ночи, из которых складываются недели, месяцы и годы? Где они?

- Дайте мне внука, - или внучку, - стонет она, - вчера я видела во сне деда Ашера, - он вышел из могилы и спросил, - спросил меня, Еву, - так и сказал, - разве Тот, чье имя не принято тревожить понапрасну, не обязал нас выполнять главную заповедь?

Разве дано видеть нам, как рождаются и совокупаются голуби? Разве дано познать, из чего зарождается рассвет, из какой тьмы проступает бледная полоска света?

- Обними меня, - просит Берта, и поворачивается на левый бок, и руку его укладывает в ложбине между правой и левой грудью.

Таинственный бархат ночи окутывает дом, но аисты пролетают мимо. Они пролетают, один за другим, но сны Моисея остаются праведными и безгрешными. Если и вырывается из Бертиной груди вздох, то это вздох смирения перед немой женской долей.

Догадывался ли Моисей о том, что за чертой их городка есть другие города, и другие страны, и живет в них множество всякого люду, - в городах эти женщины нарядны и тонки в кости, - они ходят в рестораны и пьют маленькими деликатными глотками,

отставляя мизинчик в сторону, и женское естество их искусно замаскировано в элегантные туалеты, затянуто корсетами.

Что у женщин этих не бывает, просто не может быть обязательной послеобеденной отрыжки и изжоги, а еще длительных болезненных месячных.

Догадывался ли он о том, что впадина женского затылка гораздо чувствительней и обольстительней раскинутых женских ног, пугающе темного провала между ними. И хрупкие запястья, и золотистые локоны, обвивающие пальцы тугими кольцами, - куда более крепкими, чем те, скрепляющие узы брака.

Иногда, впрочем, смутные мысли и желания посещали Моисееву голову. И тогда взгляд его застывал в проеме окна, но дорога за окном вела на рынок, за которым располагалась пожарная часть и неременная каланча, а за каланчой расступались округлые и приземистые деревья и домишки, - округлые и безмятежные, как, впрочем, и все, что его окружало.

Берта была ему, как сестра, хотя сам господь определил ее Моисею в жены, и Моисей послушно и безропотно любил ее, как любят все близкое.

Ему необходимо было знать, что Берта рядом, что она сыта и довольна, и руки ее заняты каким-нибудь ленивым рукоделием или стряпней, а если у нее задиралась ночная сорочка, Моисей опускал глаза, потому что не должен муж видеть бесстыдной женской плоти.

Тяжело дыша, она раздвигала ноги и оплетала его поясницу, выдыхая в шею тепло Евиного дома, - ну, Моисей, ну, - но энтузиазма ее хватало ненадолго, - опали колени, грудь, а сытный ужин давил в предреберье и смыкал глаза, - спать, спать, спать

Там, в безымянных снах, отцветали лиловые вечера, зажигались огни, и женские голоса струились, таяли, таили, - нечто такое, отчего Моисеево семя исторгалось каким-то необыкновенным способом, и пробуждение его было постыдным.

Берта безропотно замывала постельное белье и, затаив дыхание, выслушивала долгие женские беседы о том, что случается

между мужчинами и женщинами и от чего рождаются всегда желанные дети.

Моисей часто задумывался о том, как странно устроены женские тела, - как сдвигаются и расходятся бедра, какие причудливые фигуры и углы образуют они.

Стыдным и непорядочным казалось то, что вытворял он мысленно с чужими женами, неизвестно с чьими женами и дочерьми, какого-то иного племени. Это были чужие женщины, пугающе прекрасные в своей таинственной нагоде, и совершенно непохожие на тех женщин, которых довелось познать ему.

Это не относилось к области чувств, вовсе нет. Скорее, к области чуда, тайны, которую переплетчик Моше носил в себе.

Ремесло переплетчика требовало ловкости рук и сноровки, а голова оставалась свободной.

Небольшая пристройка за сараем казалась надежным укрытием для Моисеевой тайны.

«Не возжелай чужого, ни жены, ни имущества его»

Моисей не желал. Желания были далеки от его костлявого вытянутого тела, тощего выпирающего кадыка, покрытого колючей щетиной. Он не желал чужого. Знай работал себе, а мысли бродили вдалеке от этих мест.

В местах этих чарующая музыка улаждала слух, а стыдные фигуры вытворяли черт знает что, и замирали, когда отворялась дверь и входила Берта, внося накрытый салфеткой обед.

Кроме обеда она приносила свежие домашние новости, потому что другие мало волновали ее, и уходила, покачивая плавно бедрами.

Все в этом мире происходило по воле божьей. У нее, у Берты, был муж, переплетчик, по имени Моше, была мать, Ева, и не было детей.

В женские дни Берта становилась загадочно-молчаливой, - она держалась за живот и немножко похныкивала и требовала жалости, но не как женщина, а словно маленькая девочка. Садилась у окна и начинала сплетать и расплетать чудные свои тяжелые темно-каш-

тановые косы. Они покрывали ее всю едва ли не до самых бедер, и тогда силуэт ее вызывал в Моисее болезненное, щемящее чувство. Он послушно приносил разогретую воду и омывал Бертины ступни, и прикладывал смоченную уксуом тряпку к горячему лбу.

Недомогание было своеобразной индугенцией, освобождением от ежедневного ритуала, и тогда Моисей оставался наедине со своими снами, окунался в блаженную прохладу подушек и одеял, - порой ему снилось что-то из прошлой жизни, давно утраченное чувство свободы, когда вприпрыжку бежал он за отцом по пыльной улице, сворачивал за угол, предвкушая скорое купание в небольшой грязной речке. Тут сон его обрывался, и речка оставалась там, далеко, а рядом сопела незнакомая женщина.

Изумленно вглядывался он в приоткрытые пухлые губы, примятую подушкой щеку, с трудом вспоминая имя, предназначение, время и место.

Жизнь текла, словно сонная река, в которой полоскали белье. Река вытекала, неведомо откуда, и впадала, неведомо куда.

Лето выдалось жарким, и по пыльному шляху потянулись беженцы. Они шли с запада на восток, вслед за дымным облаком, волоча на себе нехитрые пожитки. Босые изможденные люди были новинкой в сытом краю, особенно поразили жителей города молчаливые дети, похожие на маленьких высохших старичков.

Застыв на пороге, всматривалась Ева в лица чужаков. Близко, слишком близко подступила беда к дому, запахом гари опалив размеренную жизнь, в которой всякой вещи было свое место.

Кое-что хранила в себе Евина память, хранила в дальних закоулках ее. Хранила такое, о чем предпочитала не вспоминать, не ворошить тлеющие угли.

Женщина подошла совсем близко. Одета она была в бурую поношенную юбку, а ноги ее были босы. За руку она держала девочку лет пяти.

Молча остановились они у калитки, не решаясь ни постучать, ни войти. Припорошенное серой пылью, лицо женщины казалось немолодым, лишенным всякого выражения.

Позже, вечером, отмытая в глубоком тазу в пристройке за домом, присядет она на краешек стула, неловко сложив руки на коленях. Все платья и юбки окажутся ей широки и коротки, потому что иная, отличная от дочерей Евы, порода - с развернутыми ключицами, длинными ногами и скрученным на затылке тяжелым узлом пепельно-русых волос.

Подразумевалось, что мать и дочь уйдут на рассвете, но наутро девочка слегла с жаром, и чадолюбивое семейство Евы принялось кудахтать, хлопотать, носиться туда и обратно с мокрыми полотенцами, склянками, градусниками. Слава богу, это оказался не тиф, не холера, не...

- Что, у меня тарелки супа не найдется для этой несчастной? С больным ребенком, на улице?

- Кушать, спать, кушать, - местный доктор был знаменит этой своей присказкой, - ею он излечил не одно поколение детей и малокровных барышень, - прихрамывая, засеменял по дорожке, оставляя следы от трости в растрескавшейся земле.

К великому сожалению, знаменитая формула не поможет ни самому доктору, ни большей части его пациентов, - точно так же, как сегодня, опираясь на тяжелую трость, будет идти он в толпе единокордцев, - все с тем же докторским саквояжем и в подобранном под цвет сорочки жилете.

- Кушать, спать, кушать, - очерченная тростью формула замрет в воздухе, и сладкий бульон из бойкого петушка поставит на ноги чужую девочку чужого рода племени, - похожую на мать, странно-молчаливую, то ли из благодарности, то ли от смущения, - вы кушайте, - подперев ладонью щеку, залубуется Берта чужим ребенком, - в слепой своей доброте так и не заметит она главного, наиважнейшего, - долгого взгляда Моисея, будто очнувшегося от долгого сна.

Заметит старая Ева и промолчит, опечатав свой рот. Промолчит, заслышав посреди ночи скрип половиц и шаги, вне всякого сомнения, мужские.

Так и заживут они, полагая свое состояние временным, - еще денек, еще неделку, а там и лето разразится испепеляющим августом, прольется холодными дождями сентябрь, - в покосившейся пристройке наладят какое-никакое человеческое жильё, - с примусом, печкой и сворой дворовых кошек, - конечно, придется Моисею потесниться, но отчего же не потесниться ради спасения чужой жизни, - впрочем, чужой ли?

Женщину звали Вера.

Зимними ночами дом наполнялся блуждающими женщинами. Сквозь плотно забитые щели не поступал воздух, а тот, что имелся в остатке, был безжизненным и сухим. Зевая, бродили женщины по коридорам, полы халатов волочились за ними, как шлейфы, а от тусклого свечения ламп лица их казались желтоватыми и будто восковыми.

На стенах плясали нелепо раскоряченные тени. Тени жили отдельной жизнью, совершенно независимой от своих хозяев. Чей-то острый профиль соединялся с раскачивающимися над плитой подштанниками или сорочкой, и тогда происходящее на кухне становилось пугающе таинственным. До утра нужно было дожить, каких-нибудь три-четыре часа, но именно эти часы растягивались до тягостной бесконечности. Женщины зевали, отодвигали занавески и пристально вглядывались в молочную синеву за окном.

Обнимая законную жену Берту, крепко спал Моисей и видел волшебные сны, и в снах этих являлась ему чужая женщина с узлом пепельно-русых волос на затылке, сероглазая, странно молчаливая. Женщина смеялась, откидывая голову назад, и на шею ее подрагивала сладкая синяя жилка. Что за жилка, скажете вы, подумаешь, - разве этим сильны дочери Евы? Разве удивишь зрелого мужчину какой-то там жилкой, - вот здесь, на виске, а еще - на запястье, и здесь, под округлым коленом.

Дочь Веры совсем освоилась, и время от времени капризничала наравне с другими детьми, - не буду, мол, не хочу, - и старая Ева, изображая гнев, трясла щеками и делала «свиное рыло», чем еще больше веселила негодников.

О чем бы ни судачили злые языки, а вознаграждение за мицву¹ не замедлило явиться.

В положенный срок Берта разрешится от бремени девочкой, которую нарекут Евой, а две недели спустя не без помощи хромого доктора в пристройке, за домом, посреди пыльных фолиантов, тяжелых кожаных переплетов, окруженный мудростью веков, родится на свет младенец мужского полу.

Измученный бессонной ночью, склонится Моисей над роженицей, коснется лежащей безвольно руки с пульсирующей синей жилкой на запястье.

- Кушать, спать, кушать, - скажет маленький доктор, взглядываясь в бледное лицо молодой женщины, а на восьмой день, после визита похожего на усталую черепаху мозля², младенца нарекут Даниилом.

Еще через полтора месяца в городе объявят комендантский час, а по городу развешат объявления о явке к восьми часам утра всех лиц иудейского вероисповедания. Евреи должны иметь при себе документы, ценные вещи и теплое белье.

- А я что говорила, - эвакуация, - пожмет плечами Ева-большая и залетится внезапными слезами, - потому что кто-нибудь здесь объяснит, что в этом случае ценное и что таки нет? Спринцовка, градусник, теплые носочки, куст алоэ в горшке, портрет деда Ашера, - хороши шуточки, - попробуйте-ка за двадцать четыре часа выбрать это ценное, - Берта, что ты стоишь как вкопанная, собирай дите, беги до Веры - у нас день и ночь впереди. Пусть идет, на нее никто не подумает.

На нее никто не подумает, - высокую, в сбитом набекрень крестьянском платке, прогибающуюся под тяжестью двух свертков, в которых женское и мужское кряхтит, рвет грудь и требует молока, любви, жизни, опять молока.

- Кушать, спать, кушать, - выдохнет она, оседая у ворот чужого дома, в тот самый час, когда дочери Евы, ежась от утренней прохлады и чего-то еще, необъяснимого, выведут на порог готовых к путешествию детей.

¹Мицва; (мн.ч. мицво;т; от ивр. — «повеление», «приказание») — предписание, заповедь в иудаизме. В обиходе мицва — всякое доброе дело, похвальный поступок

²Моэль - Моэль (Mohel) - человек, делающий обрезание еврейскому мальчику через неделю (на 8-й день) ...

ЧУЖАК

Телеканал «Культура» нередко служит реаниматором, выводя из зомбированного состояния, в которое погружает рутинная суматоха города.

Стою спиной к властелину мира-телевизору, смотрю в окно на замерзший и завывающий Ленинский проспект, как вдруг стало холодно.

Кто-то из известных актёров советской школы с безжизненным спокойствием читал:

*Я хотел бы так немного!
Я хотел бы стать обрубком,
Человеческим обрубком...*

*Отмороженные руки,
Отмороженные ноги...
Жить бы стало очень смело
Укороченное тело...*

И вот стою с кривой, обмороженной улыбкой и остекленевшими глазами и тупо таращусь в экран. К своему стыду, я только познакомился с Вами, Варлам Тихонович. И всё, что я узнавал о жизни этого человека: детство, первые публикации, лагерь - многоярусные нары, урки... воля - спрятанный хлеб, больница, заботливый смертоносный укол - начинало сливаться в моём воображении кумачовым заревом.

Всё это смешивалось, переплеталось, проникая в глубь моего сознания. Неизведанное чувство боли пронизывало меня.

Быть может, это зов предков? Спасибо им за то, что они были. За расстрелянного прадеда, чью фамилию ношу с гордостью и

глубоким почтением, за второго прадеда, но уже по материнской линии, которого поглотила пунцовая гидра, светлая им всем и вечная память.

Темнеет зимой рано. Особенно в начале января. Как-то раз, возвращаясь домой морозным зимним вечером из школы, я проходил через занесённый снегом сквер, где под тяжестью белого снега красовались каштаны. Мне было лет десять. Моё внимание привлёк сутулый, высокого роста человек. Шёл он, торопливо, изредка озираясь. Даже через старенькое и затасканное пальто, с воротником, отделанным изношенным каракульчовым мехом, была заметна его худоба. Сам он напоминал вопросительный знак. На ногах его были валенки, а на голове - чёрная, дырявая шапка. Уши истрепанной ушанки были крепко завязаны на подбородке. В его руках были громоздкие сумки. Массивные кулаки надёжно держали поклажу. Было заметно, что ему нетрудно нести свой багаж, мне запомнились его руки, они были длинные и кривые. Я поравнялся с ним, мной правило трепетное, волнуемое - детское любопытство. И вот, в тот момент, когда я начал обгонять его, в самом конце тропинки, под высоким фонарём наши взгляды столкнулись. Я успел разглядеть его лицо, к моему удивлению, оно было коричнево-чёрного цвета. Но это был не загар! Я, чуть испуганный, долго не мог отвести свой взгляд от лица этого человека. Из чёрных, глубоко утопленных, глаз на меня смотрел уставший и затравленный зверёк. Он закашлялся, я отвернулся, а обогнав его, ускорил шаг. Подходя к арке дома, я обернулся. Он спокойно брёл метрах в десяти от меня, и лишь его частый кашель эхом разносился мне вслед.

Мои воспоминания вновь перебил этот голос из телевизора:

*Я мял в ладонях, полных страха,
Седые потные виски,
Моя солёная рубаха
Легко ломалась на куски.*

*Я ел, как зверь, рыча над пищей,
Казалось, чудом из чудес.
Листок простой бумаги писчей,
С небес слетевший в тёмный лес.*

*Я пил, как зверь, лакая воду,
Мочил отросшие усы.
Я жил не месяцем, не годом,
Я жить решался на часы.*

И вот я вернулся опять в тот год. И мне снова десять. Я шёл на кухню к маме. И всё стало страшно, я из коридора увидел этого странного человека. Опасность! Страх! Скванность! А ужас издевательски поигрывал, раскидывая леденящие мурашки по моей спине и затылку. Я решил и зашёл на кухню. Мама, заметив моё беспокойство, вдруг так тепло и ласково сказала: «Познакомься, Саша, это твой дедушка».

Я поздоровался и убежал! Любопытство брало верх над временем. И после четырёхдневного перерыва я перестал бояться этого человека. Но никогда не называл его «дед». Я вообще никак не называл чужого родственника. Но вечерами я всё чаще и чаще заглядывал на кухню, где, по обыкновению, хозяйничал чужак. Скрюченный, он восседал на табурете, закинув ногу на ногу. Трезвым он был только днём, а к вечеру, месяца два, крепко подвыпивший, он просиживал до глубокой ночи. В тишине заснувшей квартиры, среди ночной мглы я пробирался в туалет, пытаясь оставаться незамеченным. И замерзая, то ли от сквозняка, то ли от тихого хриплого голоса, порой скрипящего, как снег под ногами, слушал, как он подпевал магнитофону.

Как-то раз зимним утром я зашёл на кухню. А мой странный родственник, гладко выбритый, как обычно по утрам, был на редкость полон энергии. По утрам он никогда не ел, утро было для него временем чаепития. Крупнолистовой чай он варил долго в маленьком ковшике. Мой странный родственник весело подмиг-

нул мне, достал из кармана галифе часы из светло-серого металла на цепочке, прикрепленной к ремню, раскрыл их передо мной и сказал: «Ровно одиннадцать, нам пора».

А я прочёл надпись «Павел Буре». Пришла мама, и они удалились.

Он стал приезжать к нам достаточно часто. Я перестал бояться его и стал с интересом ожидать его появления. Хорошо помню, он привозил то кроликов, то поросёнка, соленья, варенье, мёд...

Каждый его приезд был ознаменован застольем. Эти посиделки сопровождали отрывочные истории о столичном детстве и юности чужака, о его брате, матери. Он умолкал, лишь когда речь заходила о его отце.

Однажды, когда магнитофон чужака на кухне сломался, я с превеликой радостью ребёнка принёс чужаку свою «Электронику 312». Он был уже достаточно веселый, и в запале эмоций протянул мне те самые карманные часы. Я засмутился и убежал, а он прокричал мне вслед:

«Это всё, что у меня есть, возьми, внучок!»

Неожиданный родственный порыв этого человека заставлял меня всё больше и больше изучать его манеру общения, поведение вплоть до мельчайших подробностей. Это было в один из вечеров. Вальяжно восседая за столом, в расстегнутой рубашке, из-под которой поблёскивал крест на гайтане, чужак коротал время на кухне.

Я заметил, как из-под ремня у него выехал какой-то чёрный, истрёпанный пояс с надписями белого цвета. Обладавший хорошим зрением, я смог прочесть «Не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе».

Звучный голос из телевизора прервал мои воспоминания, он становился свидетелем происходящего в моей памяти. Казалось, он лишь средство передачи информации между мной и тем изуродованным и искалеченным поколением, о котором на весь мир заявил Варлам Тихонович Шаламов. И я вслушивался в то, что он отвечал мне через убийственно-забывчивые годы:

*Нам рушили веру
В дела старины,
Без чести, без меры,
Без всякой вины.*

*Что в детстве любили,
Что славили мы,
Внезапно разбили
Служители тьмы.*

А вскоре чужак перестал бывать у нас, и больше я никогда его не видел. Но читал его послания, приходившие достаточно часто. Я точно помню, когда читал их, у меня складывалось впечатление, что в мире есть рыдающие письма и плачущие поздравительные открытки.

Прошло десять лет. Я забыл о существовании чужака. Августовской ночью из угла комнаты меня окликнул хриплый знакомый голос. А рано утром затяжной пронзительный звонок в дверь злобным приказом вытряс меня из кровати. Заказная телеграмма извещала о смерти моего деда. Почтальон принёс горестную весть, я посмотрел обратный адрес. Тверская область, деревня...

Через годы я узнал, что был это сто первый километр, и мой дед работал там пастухом.

Прошло ещё десять лет. На Ленинском проспекте в здании академии наук собралась мужская компания. Юная официантка вызывала интерес всего нашего холостяцкого квартета. После неудачных попыток моих друзей привлечь внимание этой девушки пришла и моя очередь проверить, в какую сторону вертится колесо фортуны. Подойдя к этой очень привлекательной особе, с дежурной и наглой улыбкой я спросил:

- А вам говорили, что вы похожи на Софи Марсо?

Она ответила, так же дежурно улыбаясь:

- Да, вы не первый.

Внимательно вглядываясь в неё, я решил, что девушка с хорошо поставленной речью, умным взглядом, заразительной улыбкой, скорее всего, студентка, и, должно быть, из области.

- А вы, наверное, учитесь в институте или университете? - продолжил я.

- Да! - отвечала она

- А в каком? А где живёте? - неотступно задавал я свои вопросы, получая на них краткие и грубоватые ответы.

И вот когда казалось, что я должен потерпеть поражение, как и мои товарищи, я был вознаграждён за собственную настойчивость и любопытство. Оказалось, что девушка приехала в столицу из Тверской области, небольшого городка на Волге. Она была крайне удивлена, что я не просто знаком с этим городом и бывал там, но и хорошо знаю его историю. Потом я рассказывал о людях, которые основали этот городок и прославили его. В завершение нашего разговора я назвал девичью фамилию своей прабабушки по материнской линии, она-то и была матерью чужака. Глаза девушки засияли весело, она заулыбалась.

И вновь стихи. Теперь они, словно успокаивая меня, говорили с экрана со мной. Да, я дома, а не на планете воспоминаний. И как-то пророчески прозвучало:

*Твое спасительное слово,
Простор душевной чистоты,
Где строчка каждая – основа,
Опора жизни и мечты.*

*Вот потому-то средь притворства
И растлевающего зла
И сердце все ещё не черство,
И кровь моя ещё тепла.*

Этот голос из телевизора прощался со мной, а я уже больше никогда не слышал вас, Варлам Тихонович. Но в этот день вы были в моей комнате.

Вспоминая тот день, я написал стихотворенье, под еле-еле слышное тиканье часов моего деда.

*Сохранил меня Христос,
Вышел я из БУРа,
В маму чёрен, да раскос,
Жгучая натура.*

*Льдом покрылся мой бушлат,
Ноет поясница,
Вымыл руки, как Пилат.
Воля только снится,*

*Ах, барак ты мой, барак...
Сердце – рваный парус,
Изодрал меня ГУЛАГ,
Мой четвёртый ярус.*

*Суки, урки... наплевать,
Завалюсь на нары,
Выше воровская рать,
Износились шкары.*

*Долго мне ещё сидеть,
Пятьдесят восьмая...
Заболотистая мреть
В двух шагах от рая.*

ЮРОДИВЫЕ ДНИ

Только здесь, на Красной площади, оборотившись к шатрам храма Василия Блаженного, и есть у нас время задуматься, кто мы такие, откуда и зачем. И что, задумываемся? Лично я – москвитянин, а кривичи мои древние предки, но кем именно стали мы за последние века? Россия, несомненно, Евразия, и, словно в

подтверждение моих мыслей, из-за великолепия собора Покрова Пресвятой Богородицы выглянуло обжигающее азиатское солнце. Оно сияло так, словно хотело превратить меня во второго Барму-Постника, выжечь мои глаза.

Поодаль, где во время Вербного воскресенья происходил крестный ход с «шествием на осляти» Патриарха, худенький старец кормил высохшими крошками голубей.

Я вспомнил о доме и бабушке, ожидающей меня. В родном жилище я находил хлеб везде. Белый и чёрный, чёрствый и мягкий, с плесенью и мошкаррой. Подобное хлебное скопидомство моей бабушки Тамары Фёдоровны изрядно раздражало меня. У неё было две сумки и три пакета, в которые она с завидным постоянством складировала хлеб. Наша квартира становилась похожей на захудалый амбар. Вскоре она добралась и до холодильника.

Утром бабушка съедала кусок белого хлеба с маслом и головку чеснока, запивала всё это кофе. Утолив голод, она отправлялась за хлебом.

- Когда всё это закончится? Как мне надоели твои закрома! - выкрикнул я.

- А что здесь такого? Ты вообще чего орать-то взялся, сегодня Пятидесятница, День Святой Троицы - изумлённо тарачилась на меня она.

- Вот после войны голод, знаешь, какой был? - продолжила она.

- Бабушка моя Аксинья имела семь человек детей, а повезло только маме моей. Прокормить-то всех Аксинья не могла, мужа убили, вот она маму ради спасения в работницы барину и отдала. А так бы умерла мама моя, – еле слышно произнесла бабушка.

- После какой это войны? Японской? Первой мировой? Гражданской? - я начал торопливо расспрашивать её. Ответ был краток: «После той, которая была». Она продолжала: «Мама в работницах у хозяина долго жила, а когда сын хозяина вернулся из Москвы, сразу маму заметил. Хозяин выбору сына рад был. Свадьбу сыграли в октябре в погожий день прославления мучеников Адриана и Наталии, так они и прожили до самой войны.

Летом в день кончины Блаженного Василия папа привёз меня в Москву, на Красную площадь, к Иерусалимскому собору. Я как сень резную над ракой московского чудотворца увидела, так и обомлела. Пол там чугунными плитами покрыт. Диссус в сводах, какой! А евангелисты в парусах! А вериги! На всю жизнь запомнила!

Папа у нас в городе хлебный завод строил сам, своими руками, из красного кирпича - до сих пор стоит. Ему директором предлагали стать, а он отказался, так и работал пекарем. Всё мне пирожки, ватрушки, крендельки, пряники выпекал. Я всегда папины подарки утром под подушкой находила.

Началась война. Папа сразу ушёл на фронт. Всю ночь перед отъездом он носил маму на руках, а я ела всякую печёную и тёплую вкуснятину.

В войну мама работала на хлебозаводе, в сентябре сорок второго, в день чествования просветителя Армении преподобного Григория, охранника подменил дядя Вася, он папу хорошо знал и разрешил маме в трусиках пронести хлебные корки. Сидим мы с мамой напротив и друг другу эти корочки двигаем. Я всё говорила, что ей надо кушать, ей же на работу идти, а она не ела. В войну, если не выйдешь, сослать могли или ещё чего хуже. Так до рассвета мы и присидели.

- Потом мы тырганцы научились печь, - она улыбнулась.

-А что такое тырганцы? – спросил я.

- Это лепёшки из крапивы, ботвы, ну, а если сильно повезёт, то из свекольных листьев. Я с мамой за крахмалом за двадцать километров пёхом по железной дороге в ночи хаживала, поездов только боялись. За дальней деревней колхозные амбары в полях стояли, а в них сгнивший картофель. Вонь была – за километр учуешь. Вот из гнили этой картофельной и выгребали крахмал вручную. А ещё у мамы такое везение было на ягодные места: всё знала, где черника, где клюква, где брусника, где гонобобель. По каким только лесам и топям вдвоём не хаживали, по две бельевых корзины собирать могли.

-А мыла... мыла-то вообще не было, был каустик, вот им и стирали. Он едкий, правда, но в воду положишь - и ничего. А вшей сколько! Вши были повсюду. Господь миловал, тиф стороной обошёл, – она замолчала, задумалась и продолжила:

– Как вспомню только, как на ту сторону Волги за пятнадцать километров в леса ночами шастали - коченею, как в те военные зимы. Мороз был пятьдесят градусов, мама мне платком пуховым всё лицо заматывала, только глаза открытыми оставались. В этой лютой мерзлоте я всё о шубе лисьей мыслила, которую Василию Нагому боярин пожаловал, так и согревалась. Бывало, соберёмся всей улицей человек по десять - пятнадцать, у всех топоры и санки - и идём на промысел. Все идём: и взрослые, и дети. Лес вырубать запрещалось. Хорошо, если лесник добрый попадётся, разрешит, подскажет, где можно срубить сучки; а если строгий, то и санки, и топоры отбирали. Так и я с мамой попадалась не раз, а дядя Вася нам взамен изломанных санок новые мастерил. Привезённого запаса дров на целую неделю хватало, а потом всё сызнава.

– Водку, джин покупали в Москве. Джин-то вообще на ура шёл, как-никак сорок пять градусов. Потом в город к нам это пошло всё везли, прятались под шконкой вагонной, ну а там – на рынок. Продавали. Мне тогда уже одиннадцать стукнуло, я же ранняя, январская. Я запросто одна могла целый вещевого мешок притащить на себе.

Она так мягко заглянула мне в глаза и продолжила: «В сорок втором в ноябре завьюжило на Варлаама Хутынского. В тот вечер меня директор Елисеевского изловил. Вдруг дядя Вася навстречу, что уж он там говорил, не знаю, только, слава Богу, отпустили меня. Да и через два года, зимой в метель под самый Николин день на станции у меня лямки разорвались на мешке, и он рухнул с таким грохотом, что все вокруг обернулись. Как я тогда плакала, причитала, как безголовая, Богородицу на помощь звала, милиционер рядом стоял в метрах трёх, и опять дядя Вася рядом оказался, взял меня за руку и увёл. Знать, до самой Богородицы докричалась.

Мама мне рассказала, что добродетель наш в раннем возрасте подвизался на монашеской ниве, был направлен на остров Свирь в Свято-Троицкую обитель, откуда бежал после осквернения монастыря, так в нашем городке объявился беглый инок. Жил он уединённо в землянке на самой окраине.

Она сидела и смотрела на меня, на всё вокруг с такой радостью, то ли от воспоминаний, то ли от моего неожиданного интереса и никак не унималась: «А в школе как учились... углём писали, под свет керосиновой лампы. В одежде ели и спали. На звук каждый из нас мог определить, пролетающий бомбардировщик или истребитель, да и всегда угадывали, куда летит, нас бомбить или на Москву».

Она чудаковато сощурилась и говорит:

«Вот ты только послушай, что я скажу, – заулыбалась она, – мы с мамой всё думали: закончится война, сядем вдвоём и хлеба наедемся вдоволь, вот так, чтобы один хлеб есть нескончаемо. Как мы радовались, когда нам объявили, что войне конец, смеялись и плакали, по городу бегали, кричали, не верилось. Время шло, карточки не отменяли, за хлебом вставали затемно, занимали очередь. И вот как-то осенним утром в день празднования Иоанна Милостивого я заприметила отошалога человека, кормящего голубей, узнала в нём моего спасителя, подошла, а дядя Вася говорит мне с улыбкой: «Ступай, чадо, в хлебный дом, да поскорее...». Так я пришла второпях в магазин, протягиваю карточки, а мне продавщица и говорит: «Девочка, а карточки больше не нужны».

Думала, шутит, наверное, ещё раз спрашиваю, а она мне в ответ засмеялась и говорит: «Белого или чёрного?»

Я так и онемела, а потом говорю ей: «Всего».

Она смотрит и спрашивает: «А ещё унесёшь?»

«А дадите?» - я ей в ответ.

Она с хохотом: «Дам!»

Я, сколько могла домой хлеба дотащить, столько и дотатила. Мама с работы пришла, и мы стали пировать. Хлеб был чёрный и «рублёвый», так мы его называли, он был не совсем

белый, а, скорее, сероватый, не такой, как сейчас, но зато хлеб был настоящий».

Я дослушал её, встал и привычно стал собирать весь её непригодный хлебный запас, переложил его в пакет, предназначенный для птиц. Посмотрел на неё перед уходом, а она смотрела в окно и бормотала сама себе: «За всё я Спасителю, Пресвятой Деве Марии, Николаю Угоднику, Блаженному Василию Христа ради юродивому благодарна, жизнь у меня счастливая».

Монголоидный круг становился всё менее ярким, его карминные пряди оплетали маковки церкви собора Василия Блаженного и терялись где-то в подклети. Исчез худенький старец, и только высохшие крошки оставались нетронутыми лежать на брусчатке.

ДОРОГА

Мы стоим с Вованом на обочине дороги и ждём. Собственно, не ждём, а просто стоим. Два простых русских человека. Едет машина. Приближается. Белая, низкая, кажется, HONDA. Почему-то не спешит. Видно, приняла нас за полицейских. Вован приглядывается к колёсам и спрашивает у меня:

- Как думаешь, доедет она до Москвы?..

Я отвечаю:

- Доедет.

- А в Казань доедет?..

Я смотрю внимательней на машину и говорю:

- И в Казань доедет.

- А я думаю, не доедет, – твёрдо говорит Вован и вынимает из кармана свою пневматику. Она у него всегда в кармане и всегда заряжена.

Он наводит ствол на колёса.

Вообще он парень спокойный, даже тихий, мухи не обидит, но как выпьет сто пятьдесят грамм – тогда ему сам чёрт не брат, ничего не боится.

Машина притормаживает и останавливается.

Мы быстро подходим и, пока водитель не опомнился, открываем дверь. Я открываю – правую переднюю, а Вован приставил дуло к стеклу водителя. Тот, видно, совсем чайник: нет, чтобы посмотреть на диаметр отверстия ствола и дать по газам, так он перепугался и сидит, не дыша. Мы влезаем и садимся: я спереди, Вован сзади – чтоб водила не дурил. Поехали.

- Музыку включи, – сразу командует Вован шефу.

- Какую?.. – испуган, никак не отойдёт.

- Давай шансон. – Вован хоть и не сидел, но любит блатную лирику.

Водила непослушной рукой крутит настройку. Я ему помогаю. По салону разлилось что-то тоскливо-романтическое.

- А куда ехать?.. – спрашивает водила.
- Прямо, – говорю я.
- В Казань... – поправляет Вован.
- Как... в Казань?.. – недоумённо лепечет водитель.
- Вот так... – объясняет Вован. – Я там никогда не был.
- Я тоже... – наивно оправдывается водитель.
- Вот видишь! – весело Вован. – Будем её вместе брать. Как

Иван Грозный...

- У меня бензина только до Москвы... – канючит водитель.
- Заправимся, – успокаивает Вован.
- У меня денег нет... – чуть ни плачет водила.
- Продашь чего-нибудь, – успокаивает Вован. – Чего-нибудь

ведь найдётся...

- У меня нет ничего, – причитает водила.

- Тогда на дело сходим... – сурово говорит Вован. – Он, – кивает на меня, – в тачке посидит, покараулит, а мы смотаемся с тобой: я по дороге одну точку знаю – возьмём без проблем.

Водила задрожал совсем. Я то Вована знаю: это всё так, для понта. Если он чего и возьмёт, так у этого же водилы: заставит его со своей машины колёса снять и продаст в ближайшем автосервисе. Он вообще смирный, – я говорил. Только если когда выпьет... А мы, правда, выпили – и не по сто пятьдесят, а гораздо больше. Ну ладно, это всё мелочи. Самое главное – едем, а там видно будет.

- Выключай свою музыку, – командует Вован, – надоело. Расскажи чего-нибудь.

- Чего рассказывать? – опять пугается водитель.
- Не знаю, чего. Что ж тебе и рассказать нечего?
- Нечего.
- Тебе сколько лет? – подсказываю я.
- Сорок... Сорок два, – поправляется он.

- Ну, может, грохнул кого, – наводит на мысль Вован. – Или служил где, сидел...

- Я не сидел... – заикается водитель.
- В горячей точке был... – снова подвожу я.

- Не был, – трясётся водила.

- Так что же ты делал все эти годы?! – возмущается откровенно Вован. – В горячей точке не сидел, на зоне не служил... – У Вована иногда своеобразный юмор.

- Я менеджер... Менеджер по набору персонала...

- Ненавижу менеджеров, – очень спокойно говорит Вован, делает злые глаза и наклоняется прямо к уху водилы. – Перестрелял бы всех... Но, считай, тебе повезло: ты нас на работу принял...

Водила, наверное, уже наложил в штаны. Я чувствую, что надо разрядить обстановку, кладу руку на руль и предлагаю:

- Может, я поведу...

От ещё большего страха он мотает головой и смотрит на дорогу, как удав на зайца. Пальцы его побелели, или покраснели – плохо видно.

Вован, довольный произведённым впечатлением, откидывается назад. Я вижу в зеркальце его довольную ухмылку.

И вдруг на лобовом стекле появилась муха. С внутренней стороны. Она еле ползла, сорвалась и полетела. Что тут началось!..

Вован обрадовался, как ребёнок, и стал ловить её, размахивая пистолетом. Водила спрятал голову чуть ли ни в колени, над торпедой торчали только два его перепуганных глаза.

- Вот она! Лови!.. – веселился Вован, призывая меня принять участие в охоте. Я немного помахал руками – больше для приличия. И тут случилось самое трагическое. Водила, видно желая нам помочь, махнул своей ручкой прямо из-под руля и ловко прихлопнул насекомое. Прямо как Барак Обама. Эффекта не ожидал никто. Вован ударил его рукояткой по затылку, пистолет при этом выстрелил, пуля ушла в торпеду.

- Ты убил её!.. – в гневе заорал Вован.

- Я только хотел помочь... – захныкал водила. Машина при этом замерла посередине дороги.

- Я пристрелю его... – сурово констатировал Вован. Констатировал для меня.

- Надо съехать на обочину, – подсказал я. Прозвучало это двусмысленно: то ли как подсказка, где лучше пристрелить, то

ли как обращение внимания, что мы мешаем другим участникам дорожного движения.

- На обочину, – сурово скомандовал Вован.
- Не надо... – обречённо выпрашивал водила.
- На обочину, – повторил Вован тоном серьёзного и трезвого человека.

Водила кое-как завёл машину и съехал вбок.

- Включи свет, – приказал Вован.
- Включён... – взмолился водитель.
- В салоне, – повысил голос Вован.

Водитель включил свет.

- Ищи, – приказал Вован.
- Кого? – не понял водитель.
- Её... – ровным тоном выговорил Вован.

Водитель полез головой к педалям. Я тоже слегка наклонился корпусом и искал взглядом трупик животного.

- Вот она, – увидел я и показал пальцем на переборку, где крепилась коробка передач.

Водила аккуратно, двумя пальцами, подобрал муху и приподнял её повыше.

- Не раздави... – пригрозил Вован.

У водилы задрожали руки.

- Сейчас будем её хоронить... – объявил Вован. – У тебя есть лопата?..

- Нет, – с придыханием ответил водитель.
 - Будешь копать руками, – безапелляционно произнёс Вован.
- Выходи.

Мы все трое вылезли из машины. Трасса была еле освещена, по обеим сторонам стоял лес. Проносились редкие автомобили.

- Лопату посмотри, – подсказал я водиле с надеждой, что она всё-таки есть.

Он полез одной рукой в багажник, вторую предусмотрительно отвёл в сторону и держал в ней муху – не дай бог упадёт.

Лопатка нашлась.

- Пошли, – подтолкнул его Вован в сторону леса.

Снега ещё не было. Земля должна быть податливой, – это уже я подумал.

Мы дошли до первых деревьев.

- Копай, – приказал Вован.

- У меня рука занята... – немея от ужаса, оправдывался водитель.

- Я подержу, – согласился Вован и принял муху себе на ладонь.

Водила начал копать.

- Глубже, – пояснил Вован, – на два штыка...

- Зачем?.. – взмолился водитель.

- Не выкопаешь на два, будешь копать на шесть – для себя...

– просто сказал Вован.

Через десять минут яма была готова. Вован разжал ладонь. Мухи там не было. Он посмотрел по сторонам, себе под ноги, зачем-то вверх.

- Ну и хрен с ней!.. – в сердцах вымолвил он. – Закапывай...

- Зачем?.. – не понимая, спросил водитель.

- Закапывай, – с угрозой повторил Вован, – а то я тебя закопаю. Я, может, здесь летом за грибами пойду, что же мне об твою яму спотыкаться!..

Водитель стал закапывать яму.

- Поехали, – объявил Вован, когда от ямы не осталось следа.

Мы пошли к машине.

Сели. Ехали какое-то время молча. Потом водитель опять запел:

- Отпустите меня, ребята...

- Пристрелю, – отозвался Вован сзади. По его тону я понял, что он «отходит». Добрый всё-таки. – Довезёшь нас до дому и свободен.

- А где вы живёте? – в голосе водилы уже почувствовалась надежда.

- Тебе в рифму ответить?.. – огрызнулся Вован. – Где, где – в Москве. И не вздумай сказать, что тебе не по пути...

- Ты сам-то москвич? – спросил уже я, чтобы примирить стороны. – Номера твои не разглядел...

- Да, москвич, – страха в его голосе уже не было.
- Подбросишь нас до Садового кольца.
- Мне не по пути... – робко заупрямился он.
- Опять начинаешь!.. – встрепенулся Вован. – Завезёшь, куда скажем, и чеши потом, пока я не передумал.

- Хорошо, хорошо, – закивал водила.

Началась освещённая трасса. Внуково. Дальше дорога расширилась и сделалась многополосной. Показались огни многоэтажной Москвы. На въезде Вован очнулся от дрёмы и скомандовал:

- Давай налево, на Вернадского.

- Может, по Ленинскому... – предложил водила.

- Я тебе по башке второй раз сейчас дам, – стал заводиться Вован. Водитель покорно повернул налево, на Вернадского.

- У Юго-Западной остановись – пивка попьём, – приказал Вован.

- Мне нельзя, я за рулём, – отказался водитель.

- А тебе никто и не предлагает, – равнодушно ответил Вован.

– Мы попьём. Ты нас подождёшь.

- Может, вы...

- Без всяких может, – прервал Вован. – Рядом постоишь. Пять минут ничего не решат. Давай перестраивайся направо.

Машина стала приближаться к тротуару. Вован глазами выбирал ларёк.

- Вот здесь, – наконец выбрал он подходящий объект из длинного ряда похожих палаток.

Машина остановилась.

- Выходим. Ключи мне – чтоб не сбежал, – приказал Вован, когда заметил, что водитель хочет их спрятать в карман. Он забрал ключи из его рук и засунул к себе.

Мы направились к палатке, где не было очереди. Подойдя, пошарили с Вованом по карманам, и он заказал в окошко: «Шесть светлого». Водитель, чуя недоброе, заныл:

- Я не буду...

- Будешь. Ключи не отдам, – надавил Вован. – От одной бутылки ничего не случится.

Водитель с большой неохотой принял бутылку. Отошли в сторону. Начали пить.

- Не люблю светлое... – стал критиковать водитель.

- А чего раньше не сказал, – огрызнулся Вован. – Пей теперь, какое дали. Я тоже, может, HONDU не люблю, а FORD, но вот ехал с тобой, не привередничал...

- Тебя как звать? – влез я в их беседу.

- Григорием.

- Значит, Гриша.

- Ну да, Гриша. А вас как?

- Какое тебе дело! – стал «загораться» Вован. – Может, ты подментован или даже мент...

- Не милиционер я, то есть, не поли... ну, в общем, не из полиции. Я менеджер – я же говорил.

- Менеджер, менеджер, – передразнил Вован. – Вот послушай, менеджер, что ты со мной сделал, как ты мне жизнь поломал...

- Я вам ничего не ломал... – стал открещиваться Григорий.

- Какая разница – ты или не ты, все вы на один хрен... Так вот, слушай. И пей, – Вован внимательно проследил, чтобы Гриша отхлебнул из своей бутылки. – Так вот, закончил я техникум, давно, Библиотечный. Работал по специальности. Потом начались эти самые девяностые годы – мать их! – Я кантовался, кантовался: и грузчиком работал, и на стройке – и остался, в конце концов, без работы. Деньги где-то брать надо, не идти же на большую дорогу, прихожу в книжный магазин, – его как раз рядом с домом моим открыли, – показываю диплом, говорю, что хотел бы устроиться продавцом к ним. Мне отвечают, что надо ехать на собеседование в центральный офис, на Петровско-Разумовскую. Поехал. Там таких, как я, желающих – полно. Дождался очереди, захожу в комнату. Садится напротив меня менеджер, как ты, по набору персонала, девчонка лет двадцати двух-двадцати пяти, и начала задавать мне всякие вопросы. Что вы любите читать, какую последнюю книгу прочли, что вы хотели бы изменить в системе книготорговли. Я с ней откровенно беседую, но вижу, что она

многих авторов, каких я ей называю, просто не знает. А когда я сказал ей про изменения в продаже книг, конкретно в том магазине, куда просился на работу, она в блокнотик себе что-то чиркнула. В общем, проговорили мы с ней минут двадцать. На прощанье я спрашиваю, когда и как узнать результаты собеседования. Она говорит, чтобы я позвонил послезавтра... Проходит два дня, я звоню. Настроение такое, что – приняли. Вроде, нормальный разговор с этим менеджером получился. И вдруг как обухом по голове: «Вы не прошли собеседование...» И трубку положили. Вот тебе и менеджеры. Сейчас захожу периодически в этот магазин, а там, что ни месяц, – смена продавцов, и попадаются такие, что я не доверил бы им колбасу продавать. А мне бы так удобно было с работой: триста метров от дома...

- А ещё куда-нибудь пробовали? – спросил Гриша.

- Пробовал, но уже не в книжный. В принципе, везде одно и то же: везде девочки сидят двадцатипятилетние – менеджеры: глазки, улыбки, и такая пустота за всем этим. И самое смешное и обидное то, что большинство из них – не москвички. Я расспрашивал... Ладно, чего плакаться, давай по второй...

- Мне хватит...

- Я лучше знаю – хватит или нет. Сейчас бутылкой получишь... Ты думаешь, я библиотекарь, так не смогу тебе навалить? Я, между прочим, восемь лет борьбой занимался, кандидат в мастера спорта. Пей!..

При этом были открыты вторые бутылки.

- А по физкультурной линии не пробовали?.. – поинтересовался Гриша.

- Учителем в школу не берут – там диплом нужен...

- Послушайте, – озарило вдруг Гришу, – я вам, может быть, смогу помочь! И вашему другу...

- Мне не надо, – подал я, наконец, голос за последние десять минут. – Вот ему помогите...

- Дело в том, – стал объяснять Григорий, – что наша фирма занимается перевозками по всей стране. Очень скоро понадобятся

дополнительные экспедиторы. Вы человек крепкий – подойдёте. И дома не любите сидеть, как я заметил...

И они стали договариваться. Я отошёл, поискал урну и побросал в неё всю нашу пустую тару. Посмотрел на проспект. Поток машин не ослабевал, хотя время приближалось к полуночи. Правда, здесь он всегда такой, как я успел заметить за много лет. Очень оживлённое место. Не люблю я такие дороги. Мне больше по душе загород, пустынное шоссе, убегающее бог знает в какую даль, с бесчисленными подъёмами и спусками, и чтобы обязательно по сторонам были поля и лес – сосны, клёны, березняк. Едешь так, не спеша, километров восемьдесят в час, и можешь ехать, кажется, бесконечно. Хорошо, что наши российские просторы позволяют, это не какая-нибудь Бельгия, где за полтора часа можно всю её насквозь проскочить. Я сам там не был, но знакомые рассказывали, ездили по турпутёвкам и брали там машины напрокат. Заикнись, к примеру, какому-нибудь из тех же бельгийцев, что ты восемь часов на тачке от своей дачи домой добираться – не поверит, посмеётся и спросит: «У вас дача, случайно, не на Лазурном берегу?» И как ему, чудаку, объяснишь, что она вот тут, под боком, в Брянской области, всего-то четыреста километров по шоссе. Ещё и пошутишь простодушно, скажешь, что для нашего человека семь вёрст не крюк и сто вёрст не околица. Почешет этот бельгиец в затылке, поддакнет для приличия, потом подождёт, когда вы от него отойдёте да и покрутит у виска вам в спину. Вот так. Хорошо, что у нас по-другому, и люди душевные. Вот Гришу, хотя бы, этого взять: другой бы, обыватель западный, сдал бы нас уже полиции давным-давно, а этот терпит, мучается, но терпит. Терпеливый у нас народ. Ладно, надо посмотреть, как они – допили, наверное, наболтались...

Подхожу. Они уже, кажется, по третьей тянут.

- Пора, – говорю. – Завтра наступило...

- Всё, едем, – откликается Вован. – Мы с Гришей тут шас договорились... – У Вована, как всегда, от алкоголя речь опять упростилась, но хорошо, что всё обошлось тихо, без происшествий.

- Я сейчас вас по домам развезу... – расхрабрился и Григорий.
– А завтра, – показывает пальцем на Вована, – ко мне в офис.

Вован обнимает его за плечи.

- Вот что, – командую уже я, – отвези его домой и сам езжай.
Да смотри, аккуратней на дороге – выпил всё-таки...

- Я и тебя... – настаивает Гриша.

- Мне здесь по прямой на метро. Езжайте. – И обращаюсь к Вовану: «Пистолет отдай – мало ли чего... Потом верну. Всё, по коням...»

Я стою и смотрю, как два новых друга, сделав по последнему глотку, идут в обнимку к машине. Слежу, как отъезжают. Вроде, ничего, по внешним признакам незаметно, что водитель выпивал.

Направляюсь к метро. Вход – в ста пятидесяти метрах. Не спешу. Куда спешить. Иду и размышляю: «Эх, дорога, сколько же в тебе загадочного и непредвиденного, с кем только ни доведётся встретиться на твоих бесконечных вёрстах! И люди попадают такие разные: добрые, грустные, напряжённые, молчаливые, весёлые... Всякие. Едут на иномарках, у которых под капотом триста лошадиных сил. А зачем?.. Хватило бы и трёх. Вполне хватило...»

НА ПОРОГЕ ДВОЙНОГО БЫТИЯ

Караваев вышел из троллейбуса, сделал несколько шагов по тротуару, уступая дорогу встречным, и столкнулся в толпе с Таней. У него подпрыгнуло к горлу и на миг замерло сердце. Словно эхо, в душу вернулось старое: любая встреча с ней, своей первой любовью, как и прежде, показалась ему полной скрытого смысла. И за все время их разговора он не мог отделаться от этого чувства ожидания чего-то необыкновенного. Было немного досадно, что проносили они обычные для старых знакомых фразы – вроде «Как поживаешь?» или «Как делишки?» – и порой приходилось придумывать вопросы, чтобы не молчать. Караваев давно заметил, что даже у старых друзей после долгой разлуки разговор не клеится. А стоит побыть вместе с полчаса, как речи польются потоком. Тут и совместные, наперебой, воспоминания, байки о себе, о знакомых...

Они сошли с тротуара и встали с торца – у исписанной мелом двери газетного киоска, – чтобы не мешать прохожим.

– Ты что-то похудел, – окинув старого знакомого близоруко прищуренными каре-зелеными глазами, с оттенком сожаления сказала Таня.

– Годы идут, и мы все понемногу бледнеем, толстеем или худеем, – заметил, пожав плечами, Караваев. – К тому же у меня сессия, жира не нагуляешь.

Сказал он это не зря. Таня стала как будто выше, припудренное лицо утратило прежнюю свежесть. А губы остались прежними – яркими, не крашенными, с капризно вздернутой верхней губой. Он не переставал думать, что у нее есть муж и растет дочка. Они называли ее Наташей, и он девочку ни разу не видел. Да и, если честно, не желал видеть.

– Что ни говори, Шура, страшно подумать: скоро мне двадцать шесть! – воскликнула Таня, и что-то знакомое промелькнуло и разом исчезло в ее усталых, потерявших былой блеск глазах.

Она, вспомнил он, всегда боялась постареть и остаться старой девой, даже когда ей было восемнадцать. «Наверное, бедняжке жарко в этом розовом костюме», – посочувствовал Караваев и спросил о здоровье матери, Веры Александровны. «Нормально», – ограничилась Таня одним словом. Ему казалось, что она нервничает и куда-то спешит. Спросил ее об этом.

– Да, я сейчас на работу еду. У нас в техникуме экзамены, а я – член экзаменационной комиссии. С утра до вечера там – то сама принимаю историю, то заседаю у кого-нибудь. А вот со следующей недели ухожу в отпуск, буду совсем свободной. Ты приходи к нам, Шура.

– Что ты, Таня?! Нет, – отказался Караваев.

Да и в искренность приглашения не поверил сначала.

– Почему же?

Походило на то, что она обиделась. Караваев усмехнулся:

– Боюсь. Марат начнет ревновать.

– Ну вот, ерунда какая! Ты же сто лет его знаешь. Я его предупрежу, и он ничего не скажет. Думаю, даже рад будет лишнему поводу выпить.

– Значит, мало любит, – заключил он, поддаваясь игривому настроению.

– Отчего? – удивилась она.

– Пришла на ум песенка: «Тот, кто любит, ревнует всегда...».

Помолчали, глядя в сторону – на прохожих, на людей, толпившихся у киоска. В витрине магазина по другую сторону улицы медленно вращался манекен в ярком платье.

Действительно, к кому ревновать, если за одиннадцать лет твоего идолопоклонства ты ни разу не попытался поцеловать ее, ни разу не произнес заветных слов. Ей и так все было понятно. А ты, как страус, прятал голову подмышку, боялся узнать горькую правду и лишиться возможности видеть ее хотя бы изредка... Так что Марату ничего не стоило стать победителем в том неравном поединке за ее руку и сердце. Да еще в тот момент, когда

она по окончании университета могла по распределению на три года очутиться в деревне учительницей истории и действительно остаться старой девой...

И все же, если бы тогда, вскоре после встречи Нового года – за три месяца до ее замужества – ты решился сделать ей предложение, возможно, она бы стала твоей. Но любовь парализовала язык, и ты не произнес слов, которых она явно ждала в тот вечер, когда вы шли из кино, после фильма «Чужая родня», по заснеженной казанской улице. И вдруг, как по велению свыше, остановились перед подъемом на гору к ее дому, повернувшись лицом друг к другу, и долго молчали. Она ждала, может быть, поцелуя, готовности отдать ей свои руку и сердце – и у тебя был шанс стать ее мужем. А ты вякнул какую-то глупую фразу, и вы пошли молча дальше. До сих пор ты чувствуешь в сердце пустоту от невозвратимой потери неповторимого мгновения, с которого твоя жизнь потекла бы совсем по другому руслу...

Теперь ты знаешь об этом точно через общего друга, тоже кадета, твоего и ее бывшего поклонника, Виктора Болознева, сына генерала – первого начальника Казанского суворовского. Когда Виктор, приехав с Чукотки, уже офицером, сделал ей предложение, она сразу лишила его надежды: «Если и выйду за кого, так это за Шуру Караваева...» Значит, она ждала твоего приезда из Прибалтики. Ты приехал, гостил в ее доме и снова трусливо пустил все на самотек. И вот поздно, поздно, лопушок, позднее некуда!..

Как в трагическом аргентинском шансоне, реквиемом отзываются в тебе слова и мелодия: «Суждены мне страдания, улетела любовь...».

– А вообще-то ты прав: Марат чересчур ревнивый. Ты же знаешь, сколько у меня было поклонников. Но ревновать к тебе у него нет причин, он это знает. Так что приходи, буду рада, – повторила Таня.

Да, поклонников у нее было пруд пруди. Кроме многочисленных русских парней, грузин Тенгиз и румын Роберт. Оба хотели

жениться на ней и увезти с собой на родину. Тенгизу вступить в брак с русской не позволили родители, а с ними – и вся его многочисленная родня. На попытку Роберта сделать то же наложили вето румынские коммунисты и их посольство в Москве. По окончании университета Роберт вернулся на родину, она зачитывала Караваеву письма с его корявыми признаниями. Да какой толк от пустословья, когда ей грозила ссылка в деревню?.. И ведь она делилась с ним, Караваевым, своими страхами. И, выходит, это он поспособствовал остановить ее выбор на настырном местном татарине. Который, скорей всего, и татарского-то не знал, а школу закончил на одних тройках и учиться пошел в финансово-экономический институт, куда не было никакого конкурса.

– Не обещаю, – после долгой паузы промямлил он. – Мне, признаться, хотелось бы посмотреть, как ты живешь. И в то же время...

Он не договорил. Подумал, что она и без слов поймет, почему трудно ему прийти в их дом. Таня на мгновение опустила глаза и снова прямо, с заметной обидой, пронзила его душу колдовским взглядом, призывая к покорности и смирению гордыни:

– Ты ведь и Наташку еще не видел. Только учти: она на меня нисколько не похожа.

– А когда Марат приходит с работы? – неожиданно для себя нашел выход вроде бы из тупиковой ситуации Караваев.

– Около семи.

– Приду днем, когда его не будет.

– Хорошо, Шура, жду в любое время.

– Скоро не обещаю. У меня, сама знаешь, сессия в институте. После экзаменов зайду. Где живёте?

– У аэропорта, на Полевой, шестнадцать. Там отец Марата после отставки дом построил, одну половину отдал нам.

– Так мне до вас всего-то минут пятнадцать ходьбы. Я на Ершова, в пятом общежитии авиационного института живу. Напротив могилы Василия Сталина на старом кладбище. Ему недавно грузины мраморный памятник поставили.

О том, что обзавелся женой около года назад, он предпочел промолчать. Женитьба была шагом отчаяния. Из-за того, что потерял единственную и неповторимую девушку, а вместе с ней и надежду еще кого-то полюбить.

Он проводил Таню до троллейбусной остановки, а потом долго стоял, прислонившись к фонарному столбу. Июньское солнце пекло неприкрытую голову. В воздухе мельтешила пыль, пахло перегорелым бензином. С шумом проползла поливальная машина, серебристым веером разбрызгивая воду. Несколько капель попали Караваеву на лицо.

Однако чего не делает с людьми время, подумалось ему, припомнив морщинки на лбу Тани и ее усталый взгляд... Только как ему избавиться от этого наваждения? Скажи она ему: «Шура, забудем всё – и будем вместе!..» И «я б навеки пошёл за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали...»

2

– Послушайте, дедушка, как мне на Полевую пройти?

Дед, седобородый, в белом парусиновом картузе, сидел на лавочке у ворот своего дома и, опершись на самодельную клюшку, думал свои стариковские думы. Он не сразу, словно очнувшись от дремоты, поднял голову, заслоняя глаза ладонью от солнца, и, повернув к Караваеву левое ухо, произнес:

– А? Чо те надо?

Караваев повторил вопрос громче, и старик отрицательно мотнул головой:

– Не знаю, внучек!

«Долго же ты дождался меня на этой скамейке», – подумал Караваев. Его позабавило, что дед, проживший в этом околотке, может быть, лет семьдесят, не знает название близлежащих улиц.

Он в развалку последовал дальше. Это было приятно – шагать и никуда не спешить, зная, что тебя никто не ждет, никто не торопит. Экзамены за второй курс сданы, от работы в студенческом стройотряде его освободила медкомиссия – прогрессировало по-

лученное в армии варикозное расширение вен на левой ноге. Теперь до сентября можно уехать в Вятские Поляны, к жене.

А ехать не хотелось. Женился он скоропалительно в прошлом году после первого курса. Познакомился с Галей на танцплощадке, через месяц зарегистрировались, и он уехал из Вятских Полян в Казань. Дней за десять до окончания не очень сладкого медового месяца – начинался учебный год в институте. Она с ним поехать побоялась: нужно искать работу, а главное – снимать частную квартиру. Посчитали: ее зарплаты и его стипендии на жизнь в Казани все равно бы не хватило. Оставить старую мать с больным туберкулезом братом Галя не хотела. Да и жизни в большом городе боялась. Караваяев приезжал к ней на одну-две ночи два раза до Нового года, потом – на зимние каникулы, а после них до весенней сессии еще раза три.

И сейчас медлил, откладывал поездку к жене. Трудно было признаться самому себе, что не любил он ее. Все в ней раздражало – ее медлительная походка и как стоит, соединив носки и расставив пятки. На любое его замечание распускает нюни – слезы ручьем, нос краснеет, плечи дергаются. Юмор воспринимает как насмешку над ней. И разговаривать с женой абсолютно не о чем, разве что о еде, одежде и родственниках...

Недаром Мария, сестра, отговаривала его от женитьбы. Она вела одно время уроки истории в вечерней школе, Галя была ее ученицей. «Тупая красивая хохотушка. Тройки ей ставили из жалости – как-никак работает, учится. Надо хоть семь классов за плечами иметь. А ты умница, отличник, суворовец, офицер, скоро инженер... Совершенно не пара она тебе, ничего общего с ней. Так что ничего хорошего из твоей затеи не получится. Бросишь ты ее, и все будете несчастными – и вы, и, не приведи Господь, ваши дети...»

Словом, влип, идеалист... Решил, что все равно после несчастной любви к Тане уже никого не полюбит, а Галя оказалась ему девушкой любящей, преданной, верной. Наверное, это так и было, но от этого ничего, кроме вины перед ней и злости на свою

глупость, не было. А она уже беременна, и как сложится их дальнейшая жизнь, он представлял с трудом и избегал об этом думать. Да и женатым себя не чувствовал, время от времени по-прежнему заводил короткие связи с девушками и разведенными женщинами. А ложился спать и просыпался с одним и тем же именем и тоской в сердце: Таня, Таня...

Окраина Казани походила на деревню. О городе напоминали самолёты, то взлетавшие, то садившиеся на рядом расположенный аэродром. Деревянные дома мерцали окнами в листве палисадников. На лужайке играли дети и паслись белые стайки гусей. Во дворах протяжно мычали коровы, блеяли овцы и козы.

С утра он из общежития сходил с однокурсником Фираилом Нуруллиным, так же не спешившим с отъездом домой, на пляж, часа два купались, загорали впервые с начала лета, а сейчас тело приятно горело и, казалось, наливалось силой и здоровьем.

Человек лет тридцати в темно-синей фуражке летчика гражданского флота и кирзовых сапогах охотно рассказал Караваяву, как найти Полевою.

«Не мудрено, что дед не знает этой улицы», – подумал Караваяв, увидев, что Полевая имела не более сорока домов и вела действительно прямо в поле. Там переливался, струился теплый воздух, манила к себе темная полоска леса. Все дома были новые, с застекленными верандами. Пахло свежими стружками и опилками – их груды желтели вдоль заборов. У пятистенного сруба стучали топорами и молотками плотники. Здесь тоже важно прогуливались гуси. Большой серый кот вперевалку переходил дорогу.

«Прямо-таки деревенская идиллия! – усмехнулся Караваяв. – Здесь и машина-то, наверное, редкость».

На высоких глухих воротах дома с искомым номером он прочитал эмалированную табличку: «Осторожно! Во дворе злая собака».

Не любил пролетарий умственного труда Караваяв дома с этими предупредительными надписями. Ему казалось, что обитатели их находятся в постоянном страхе за свое добро и пекутся об

его охране. Едва он дотронулся до щеколды и приоткрыл тяжелые ворота, как со двора донеслось хриплое редкое гавканье. «По-видимому, солидный пес, – подумал Караваев. – Черт знает, на цепи он или спущен? Разделается со мной, как кулацкий барбос с дедом Щукарем. Добро, тот в полушубке был.» От этого литературного воспоминания на душе стало веселее.

3

В конце затемненного коридора между стеной дома и забором показалась пожилая женщина в клеенчатом переднике, повязанная белым платком по-татарски, с большой ложкой в руке.

– Вам кого? – спросила она.

Крикливый голос и взгляд ее показались Караваеву неприветливыми.

– Таню можно видеть? – сказал он, не совсем уверенный, что попал по адресу.

– Таня! – крикнула женщина и скрылась за углом.

Караваев стоял у ворот, не решаясь идти вглубь двора. Невидимый пес не переставал гавкать.

– И зачем было приходиться? – с раздражением думал он; врываюсь в чужую жизнь, собственно, из праздного любопытства. Да еще и у Тани возникнут неприятности.

–Тише, Мальчик! – слышался голос Тани. – Появился наконец-то. Здравствуй, – улыбнулась она Караваеву, молитвенно складывая ладони на груди и наклоняя голову с длинными каштановыми кудрями.

Как же он любил это ангельское личико в рамке ее кудрявых с детства волос, словно скопированное со старинной Рождественской открытки!.. В простеньком голубом ситцевом халатике она выглядела игривой прежней девчонкой, всегда настроенной подколоть его.

Мальчиком называли овчарку величиной с теленка. Пес бегал по проводу, звеня цепью, и хриплый редкий лай его казался лишним в этот солнечный яркий день. Из цинкового корыта пили

утки, разбрызгивая воду. Капли вспыхивали на солнце подобно наждачным искрам.

На молодых яблонях за невысокой оградой зрели яблоки. Кусты смородины поднялись выше штакетника. Где-то в глубине зарослей пищал цыпленок.

– Пойдем на кухню! – пригласила Таня с лукавой прежней улыбкой. – Мы варенье на зиму заготавливаем. Хочешь?

– Нет, спасибо, – поблагодарил Караваев, не переставая думать, что пришел напрасно.

Прошли через полутемные сени и через открытую дверь. Оказались в просторной кухне. На двух керогазах, поставленных на большой стол, в одинаковых зеленых тазух булькало и пенилось варенье, и на кухне стоял смешанный запах вишни и дыма. Женщина в клеенчатом переднике кинула на Караваева быстрый взгляд, не переставая помешивать в тазу деревянной поварешкой. Караваев догадался, что эта желтолицая женщина была свекровью Тани. На его приветствие она молча кивнула головой и отвернулась.

Караваев сидел на скамейке и молчал. Таня тоже молчала и мешала в тазу. «Почему она не догадается познакомить меня со свекровью? – размышлял Караваев. – Наверно, плохо живут друг с другом».

– Ну, как дела? – спросила, наконец, Таня.

Странно, она была совсем иной, чем в прошлую встречу, – румяная, свежая, почти как в девушках. И морщинки у глаз и на лбу куда-то подевались. Голубой халатик с засученными по локти рукавами смотрелся на ней как нарядное платье. Лишь руки с покрашенными ногтями были очень тонкими и бледными. У кисти левой руки ясно выступал след от ожога. Казалось, пьянящий запах горячего смородинового варенья исходит не из тазов, а от нее – такой молодой и словно радующейся его приходу прежней Тани Осиповой.

– В отпуск уезжаю, в Вятские Поляны, – сказал Караваев.

– Когда?

– Сегодня. Уже билет на руках. Экзамены сдал нормально, без троек. Стипендию буду получать. Хотя после пяти лет в армии

учеба не дается так же легко, как в суворовском и офицерском училище. Отупел, знать.

– Но ты же зубрила! – поддразнила она уже полузабытым словечком. – Снова будешь отличником, заслуженным стипендиатом.

Женщина привернула керогаз, буркнула Тане: «Присмотри», – и, прихватив таз полотенцем, унесла в сени.

– Свекровь? – осведомился Караваев. – А тесть где?

– Она, – поморщилась Таня. – А дед рано утром уехал на своей машине на Волгу – рыбачить. У него там моторная лодка, в хорошую погоду с утра до ночи на реке пропадает.

– Отопление у вас паровое, судя по этой печке и батареям.

– Паровое. В прошлом году калымщиков нанимали для монтажа.

– Манометром пользоваться научилась? Не взорви хату!

– Нет, я сама не топлю.

Караваев чувствовал, что говорит пустое, – лишь бы не молчать, заполнять вакуум, вечную недоговоренность между ними. А подходящей темы не мог подыскать. Хотя в мыслях своих их было тьма. Он постоянно беседовал с ней, представлял, пытаясь детально восстановить в душе ее облик. Думал, как бы она оценила тот или иной его поступок. Однако и сейчас происходило то же, как это было с ним – за неделю до его тринадцати лет, когда он впервые увидел Таню в зимние каникулы в ее доме. Туда его прихватила с собой старшая сестра Наталия. А с ней была ее веселая подруга и коллега по работе в обкоме партии, тетя Магира Муратова, с сыном Раифом, его однокашником по суворовскому. Взрослые подруги собрались на девичник – отметить дня три назад наступивший сорок шестой Новый год – первый после страшной четырехлетней войны. И Караваев с той ночи жил непреходящим желанием: лишь бы видеть Таню, слышать, любить бессловесно. И покорно следовать ее невинным капризам...

Из боковой двери вышла девушка лет восемнадцати в ситцевом платье, босая, со свернутой ковровой дорожкой в руках.

– Наташа проснулась, – сказала она, ни на кого не глядя и проходя мимо в сени.

– Ладно, хватит варить! – решила Таня и отключила керогаз под тазом. – Пойдем в комнату. И так ты, не знаю что думаешь: вот, мол, пришел, а она держит меня, невесть где.

Караваев засмеялся: ничего подобного ему не приходило в голову.

– Пройдем в нашу половину дома, – сказала Таня. – Родители живут отдельно, за стеной. Они прошла в другую комнату, прикрыла за собой дверь, а Караваев не садился. С любопытством осматривал каждый предмет. И про себя удивлялся, что в его воображении Танино жилье представлялось иным, похожим на прежнюю коммуналку, куда он приходил в увольнение из суворовского. Потом приезжал из Рязани, из пехотного училища, курсантом. А из Китая и Прибалтики – лейтенантом. Все здесь было чужим и новым, словно вчера из магазина, – зеркальный шифоньер, круглый низкий стул, мягкие стулья. И даже красноватых тонов обои, казалось, наклеили только вчера.

Караваеву подумалось, что он с одиннадцати лет обитает по казармам и общежитиям. А квартира, где живет его Галя со своей матерью и с занудным чахоточным старшим братом по матери Геннадием, для него остается чужой. Геннадий беспрерывно пишет и рассылает письма, лишённые знаков препинания, во все инстанции, вплоть до Кремля. Выпрашивает льготы за своего покойного отца Ивана Горбунова, в годы революции – сотрудника в аппарате секретариата Ленина. А потом показывает знакомым вежливые отписки советских чиновников без предоставления льгот.

В спальне Таня о чем-то бормотала с дочкой. Босая девушка принесла ведро с водой и стала мыть пол. «Родственница, что ли?» – подумал о ней Караваев.

Таня вынесла, наконец, Наташку из спальни. Девочка с любопытством уставилась на Караваева, а он сразу же увидел, что дочь ни единой черточкой не похожа на мать.

– Я тебе говорила, что она на меня несколько не похожа, – словно угадывая его мысли, сказала Таня. – Вон уши оттопыренные, как у отца. И волосы редкие и прямые.

– А он сейчас не лысый? – осведомился Караваев.

Он видел Марата лет восемь назад, и ему запомнилась в нем именно эта деталь: длинные редкие ржаные волосы с пробором ото лба до макушки, соломенной крышей свисающие к ушам. К Караваеву он отнесся с покровительственным добродушием и пытался говорить одними остротами. А Таня за глаза подсмеивалась, что Марат плохо учится. И даже – не понять, всерьез или в шутку – предполагала, что и аттестат зрелости он получил по благу.

– Нет, не лысый, – как-то обиженно тряхнула кудрями Таня, опуская дочку на только что помытый пол. – А что?

Караваев не ответил. Наташа, шлепая ножками, шла к нему с вытянутыми руками. Он поднял ее и поцеловал – почти неожиданно для себя. У него сжалось что-то в груди, заныло: такая дочка могла бы родиться у них с Таней. Он осторожно поставил девочку на пол и сел в глубокое кресло, крикнувшее под задом пружинами.

– Прочно обжились, – сказал он.

Таня перегнулась к нему через стол, и почти шепотом – в комнате расстилала дорожку босая девушка – сказала:

– Я бы это все (она повела вокруг тонкой рукой) променяла за прежнюю жизнь у мамы.

– Почему? – удивился Караваев, уже догадываясь о причине и тоже переходя на шепот. – Вы плохо живете?

Она поморщилась и кивнула головой в знак согласия, при этом странно изменилось ее лицо: румянец сошел, и в глаза вернулась усталость.

– Дураки мы с тобой! – шепнул он, тоже нагибаясь к столу и испытывая щемящее чувство жалости к Тане и к себе. А мысленно окончательно решил: не говорить, что женился.

Она опустила глаза. Наташка снесла Караваеву все свои игрушки. «Дя-дя», – внятно повторила она несколько раз, указывая на него пухлой ладошкой.

– Она ко всем липнет, – нарочито возмутилась Таня, словно извиняясь за дочь. – И по кому такая? Я дикой росла.

– Мама говорит, что я маленький всех нищих целовал, – признался Караваев и смутился.

Девушка обтерла последний стул, бросила тряпку в ведро и вышла, прикрыв за собой дверь.

– И почему же вы плохо живете? – спросил Караваев. – Ругаетесь?

– Ругаемся постоянно. Из-за всякой мелочи, потом и не вспомнишь, с чего началось! Но ты, Шура, не можешь себе и представить, как он ругает меня! Самыми последними словами. Ну теми, какими пьяные друг друга поливают! Отборным матом. Ты знаешь, где он работает? В республиканском МВД. Тюрьмы, лагеря, разные каталажки контролирует как бухгалтер. Там же этих заключенных начальство обворовывает страшно. Он мне иногда рассказывает, и я думаю, что заключенных надо начальниками над их тюремщиками ставить. И сегодня уехал в Дегитли – там зэковский лагерь. После финансово-экономического отец его туда рекомендовал – он бывший полковник милиции. Марат стал младшим лейтенантом, сейчас лейтенант. И представляешь, просто оборзел, переродился. Жаргон блатной усвоил, пить стал, меня семизажным кроет. Сука ты, блядь! Представляешь?..

Она смотрела на него расширенными от ужаса глазами.

Караваеву представить это было невозможно. Стало стыдно, словно оскорбления, которые выслушивала Таня, приходились и на его долю. Он молчал, опустив глаза. «Ну и скотина! Кажется, институт кончил – и вот она, культура...».

А в голосе Тани слышались удивление и слезы:

– Никогда не думала, что меня так могут обругать. И что противно, Шура, – он через час забывает обо всем и начинает ласкаться, подлизываться. А мне противно! Противно слушать его, смотреть на него!.. А раз так ударил, что с синяком под глазом ходила. Клялся, что пьяным был и этого не помнит.

– Из-за чего же вы... ругаетесь? – спросил Караваев.

– Говорю же, с мелочей начинается. Он меня заденет, я его. Ты же знаешь, я уступать не люблю! А самое паршивое, что мне

известно все его прошлое – и это плохо! Он еще в десятом классе путался с девицей шестью годами его старше, спал с ней. А меня к прошлому ревнует, придумывает невероятные истории моих отношений с Тенгизом, с Робертом. Он, как и ты, с ними был знаком... Словом, грязь, грязь невообразимая!

– А мой приход не явится причиной новой потасовки? – с тревогой осведомился Караваев.

– Нет, будь спокоен, я его предупредила, – заверила Таня.

Она разоткровенничалась, и Караваев вспомнил, что и прежде она доверяла ему: «Я знаю, ты никому ничего не скажешь». Вот и Марат знал о тех же Тенгизе и Роберте, хотевших жениться на ней. В то время Караваев приходил к Тане домой в увольнение из суворовского училища и иногда встречал там то Марата, то могучего красавца грузина Тенгиза, то миниатюрного румына Роберта, присланного на учебу в университете.

Встречал Марата и на танцевальных вечерах в пятнадцатой женской школе, в которой училась Таня. Танцевал Караваев мало, больше сидел и угрюмо наблюдал, как Марат кружился в вальсе с легкой изящной Татьяной, одетой в гимназическое коричневое платье с белым фартуком, и ее пышные кудри развевались под звуки духового оркестра...

В комнате появлялась и исчезала босая девушка, Таня называла ее Машей. На ковре возилась со своими игрушками Наташа. Маша оказалась домработницей, и Караваев недоуменно спросил:

– А что, бабка с Наташей не водится?

– Ну да! – усмехнулась Таня. – Мы живем совершенно независимо. Сначала питались вместе. Вот здесь, – Таня указала на стену, покрытую обоями, – была дверь, обе половины дома были общими. Год назад разделились совсем, дверь заделали... Правда, так у нас денег уходит больше, но зато ешь и делай, что захочешь. А Машу мы из деревни взяли. Совсем молоденькая еще – семнадцать лет, но добросовестная, старательная. Без нее я не смогла бы работать в техникуме. А без работы с ума сойдешь. Да и стажа не заработаешь. С Маратом в любую минуту можем разбежаться, на

что тогда с ребенком жить? Там хоть мама поможет. Она, кстати, тебя иногда вспоминает. Но не злорадствует, как над другими – Витькой Болозневым, Робертом, Тенгизом. И другими парнями – ты их не знаешь. Вместе с ними в университете училась на разных факультетах и курсах.

Все это казалось странным Караваеву – эта штатская жизнь. С одиннадцати лет до двадцати трех он носил погоны, жил по уставам в казармах, в строю. И теперь с трудом адаптировался в этой шпакской неразберихе.

Пришло в голову, что последний фильм, который он смотрел вместе с Таней, назывался «Чужая родня». И вот она оказалась среди чужой ей родни. Тогда он только что уволился по первому хрущевскому сокращению штатов из армии, приехал к ней в начале января отметить свой день рождения и сделать предложение. Не решился, уехал к матери и ждал обещанного ею визита к нему. А вместо этого в марте получил коротенькое уведомление: «Поздравь меня: 8 марта я стала женой Марата».

Он тогда хотел покончить с собой. Пожалел мать: одного сына она уже потеряла – его убили немцы под Орлом, в марте сорок третьего.

И вот сейчас Татьяна вольно или невольно оправдывалась перед Караваевым.

– Знаешь, все получилось так неожиданно, что я и сейчас не могу опомниться. Вернее, понять! – нервно взглядывая на Караваева, говорила Таня. – Марат ни с того ни с чего сделал предложение. Я сначала не согласилась. «Ты что, с ума спятил?» – еще спросила. Он сказал, что это серьезно. И у меня все в голове закружилось! Кончаю университет, куда-то распределят, ушлют в захудалую деревню учительницей. А как мама?.. Потом, думаю, мне уже двадцать три года, уже старая, прежнего успеха не имею. Плакала, плакала, у мамы совета спрашивала... А Марат – хитрый татарин. Он всегда старался угодить маме: приходил с бутылкой вина, с подарочками мне и ей. Она меня и подтолкнула: говорит, делай, как знаешь, но я бы на твоём месте согласилась. И мы расписались!

Таня вздохнула, замолчала. «Как все просто и глупо! А у меня самого – и того глупее», – подумал Караваев и хрустнул пальцами. Последнее время это вошло у него в привычку.

Наташка толкнула дверь – она открылась, и девочка, перекувыркнувшись через порог, плюхнулась на кухонный пол и захныкала.

– И чего тебе там надо? – срываясь с места и поднимая с пола дочь, прикрикнула Таня. Она захлопнула дверь и накинула крючок.

– Мне кажется, он совсем и не любит меня, – оттаскивая Наташу к игрушкам, продолжала Таня. – Смотрит как на свою собственность и обращается как с вещью!

Караваев прервал ее:

– Ты на крючок напрасно закрылась. Толкнутся – и не знаю, о какой пакости подумают!

Таня испуганно взглянула на него.

– И правда! Я об этом совсем не подумала.

Она приоткрыла дверь, и обоим стало неловко.

«Сказать ей: брось все, и пойдем со мной!» – подумал Караваев. Он уже забыл свои мысли о том, что любит в этой женщине не ее, а прежнюю Таню, до ее замужества. Которую обожал, на которую молился, к которой не смел прикоснуться десять лет. А сейчас понял, что занимался самообманом: для него она навсегда останется «звездой заветною, другой не будет никогда».

– А ты уйди, Танечка! – решил он бросить пробный камень. – Что тебя держит?

Она только усмехнулась.

– А куда? К маме? Он все равно придет. И уже поздно! – Она повела глазами в сторону Наташки.

«Нет, не пойдет за мной, – уверенно подумал Караваев и назвал себя дураком. – Ты же сам уже повязал себя по рукам и ногам. Захомутил!.. Забыл, что Галя на четвертом месяце...»

– У нас в речном техникуме народ взрослый учится, – сказала Таня. – Один парень, заочник, механик парохода, красивый, умница, влюбился в меня. Предлагал бросить все и уйти с ним. А я подумала: ну что, пойду я, и будет хуже, чем сейчас. Здесь хоть

материально хорошо живем, а с ним натерпишься всего. Еще неизвестно, как к Наташке будет относиться... Ты не смейся – это так!

– Прости, не до смеха. Просто подумал, как одним опрометчивым шагом легко отравить всю жизнь. Но вряд ли материальное благополучие может быть основой семейного счастья.

– Дурачок! Ты всегда был идеалистом. Я храню все твои письма, иногда перечитываю. И думаю, какой же ты, Шура, фантазер. С детства и, вижу, до сих пор!.. Женишься – начнешь рассуждать иначе! – тоном искушенного опытом человека возразила Таня.

– Вряд ли! Даже и после женитьбы.

А в душе назревало решение – порвать с Галей. Сосуществовать не любя – хуже муки не придумаешь. Свобода! – единственное, что надо ценить.

Танины откровения напомнили Караваеву недавний разговор с низкорослым малым Костей Копытиным. Он жил в одном доме с Таней, этажом ниже и, как подозревал Караваев, тоже угодил в ее тенета. Когда бы он ни приходил в увольнение к Тане, Костя всегда торчал у нее. Он был года на три младше ее, и она с ним не церемонилась: «Ну-ка, Костенька, беги домой, учи уроки или сыграй нам экзерсис на пианино!» Костя уходил, и через пару минут из-под пола неслась музыка Шопена, Моцарта, Брамса.

Отец Кости, командир заградительного отряда, майор, после войны привез из Германии вагон барахла. Караваеву привелось раза два побывать у Кости в гостях. Их квартира занимала весь первый этаж и была целиком меблирована немецкими диванами, кроватями, шкафами, буфетами. А застлана трофейными коврами и увешана картинами в золоченых рамах.

Из Германии, на Костину беду, отец прихватил и пианино. Сначала пацан с неохотой ходил в музыкальную школу, потом увлекся. И теперь, поступив в Казанский университет, стал стричься и одеваться под стилигу. А на втором курсе организовал студенче-

ский джаз-банд из ребят, умеющих играть на ударнике, саксофоне, гитаре, трубе. А на себя взял игру на пианино, подбор репертуара, труд дирижера и композитора. Играли только для проверенной аудитории, чтобы за пропаганду растленной западной музыки не вылететь из универа. А накопают чекисты что-то еще – западные пластинки, ноты, тексты хитов на английском (а их Костя, к удивлению Караваева, мастерски хрипел) – можно и срок схлопотать.

За образец Костя и его сподвижники приняли Олега Лундстрема. Он приехал в Казань со своим джазовым оркестром из Китая и сводил концертами с ума молодежь. А бедная Вера Александровна жаловалась Тане, что своей «гремучей белибердой» Костя сводит ее с ума: «Подумай только, Коська наш вообразил себя композитором, начал музыку сам сочинять. Да такую, что от нее все черти разбегутся!.. У меня голова от его какофоний разламывается».

– И как ей было за Марата не выйти? – сказал Костя по поводу Таниного замужества. – Отец у него – полковник в отставке. Дом свой, телевизор, холодильник. Недавно машину купили! Как тут было устоять?

Караваев не поверил Косте. Во-первых, потому, что подозревал его в тайной безнадежной, как у него самого, любви к Тане. И, во-вторых, это было низко и подло – выходить замуж из-за дома и прочего барахла. Подобных взглядов на чистую бескорыстную любовь придерживались все его братья-кадеты по Казанскому суворовскому училищу.

– Не говори такого больше никому, – оборвал тогда Костю Караваев. – Ты, видно, совсем не знаешь Таню. И, вообще-то, все это похоже на грязную сплетню!

– Ты сам просто ее не раскусил! – горько произнес Костя, сморщив свое круглое, словно слепленное из сдобного теста, личико. И показался Караваеву еще меньше и некрасивей, чем обычно.

«Кажется, он отчасти был прав, – подумал Караваев теперь. – Я всегда ее идеализировал. А может, в чувствах к ней инстинктивно искал спасения от грубой реальности?..».

– Знаешь, я уже раз к маме с Наташкой уходила после того, как он меня ударил. Через неделю пришел, плакал, умолял вернуться... Да и он Наташку любит, – словно оправдываясь, сказала Таня. – Придет домой и начинает с ней возиться... Нет, уйти невозможно!

Наташа перехватила взгляд Караваева, бросила игрушки и быстро затопала к нему с вытянутыми перед собой ручонками. Он подхватил ее и подбросил к потолку. Девочка засмеялась, и он невесело подумал, что скоро у него будет свой бутуз. И совсем нестати: до окончания института остается четыре года, жилья нет, на стипендию и Галину мизерную зарплату цехового плановика не прожить. Придется переводиться на заочное отделение, переехать в Вятские Поляны, поступить работягой на завод. И целиком окунуться в прозу существования провинциального городка, где главное развлечение – пьянство и кинотеатр. Есть еще рыбалка и садоводство, но это тоже не для него.

– Какие у нее чудесные глаза – большие, синие! – сказал он.

– Как у отца, – быстро проговорила Таня. – Хочешь чаю со свежим варением?

– Нет, спасибо, я пойду! Скоро Марат придет, передавай привет, если помнит меня.

Она вышла проводить его за ворота, с дочерью на руках.

– Заходи, как приедешь из отпуска, – пригласила она.

Солнце снова предательски высветило тонкие, словно иголкой начерченные, морщинки на ее лбу и под глазами.

– Может быть! – неопределенно ответил Караваев.

Она протянула руку, и он слегка сжал ее кисть, чувствуя, как жаль отпускать собранные в горстку тонкие пальцы.

– До свидания, Шура! – произнесла она, наклонив кудрявую голову и улыбаясь каре-зелеными глазами так, словно и впрямь жалела расставаться с ним. Хотя и было это не более, чем испытанное годами женское кокетство, кем-то названное нравственным шулерством. Может, неосознанная трагедия ее сути состоит в том, что она умеет нравиться многим, а сама не способна лю-

бить?.. Но почему же для него, имевшего близость со многими женщинами, заверявшими его в нетленной любви, существовала только эта, один взгляд которой был дороже всех их, вместе взятых?.. Или прав Диккенс, сказав: «Любовь – это всё. И это всё, что мы о ней знаем»?

В конце улицы – оглянулся. Таня шла к нему спиной и вела перед собой за поднятые руки Наташку.

«Аудиенция окончена, – с горечью подумал Караваев. – А привет Марату я зря передал. Он, по ее словам, порядочная скотина. Если скотина вообще может быть порядочной».

4

В октябре того же года Караваев затемно вышел из третьего корпуса авиационного института на Толстого. И ноги, как будто независимо от его воли, понесли в сторону улицы Ульяновых. Там, в двухэтажном деревянном купеческом доме, на втором этаже, в коммуналке, до замужества жила Таня. А после свадьбы продолжала жить Вера Александровна, ее мать.

«Какое ты имеешь право осуждать Татьяну? – не раз упрекал себя Караваев. – Чем ты лучше ее? Это о себе мы судим по идеалам, а о других – по их поступкам. У тебя же идеалов особых нет, и по отношению к своей обманутой жене выглядишь негодяем».

В конце концов, Татьяна слабая женщина. По собственной воле угодила в ловушку. Боится стать матерью-одиночкой, уйти от сытой жизни и повторить историю своей матери. А ты хочешь жить не умом, а сердцем, а в нем живут по соседству Бог и дьявол.

Тридцатидвухлетний отец Тани, Владимир, в сорок четвертом году появился дома после фронта и госпиталя, Раненое легкое не долечили, развился туберкулез, и через несколько месяцев жена и двенадцатилетняя дочка схоронили его на Арском кладбище. Вере Александровне было всего тридцать, она работала в ГАИ, носила погоны младшего лейтенанта. Для дочки старалась делать все возможное, чтобы она росла и училась в нормальных усло-

виях. Но жизнь есть жизнь. Приходивший в увольнение из суворовского Караваяев иногда заставлял маминых гостей, тоже милиционеров. Они выпивали, заводили патефон, и кто-то из них оставался ночевать. Тогда Таня спала не с мамой, а на застланной ватным одеялом деревянной тахте за печкой...

Вспомнилось, как на следующий день после зимнего вечера, когда по пути из кинотеатра он струсил сделать Тане предложение, после завтрака они, Вера Александровна и Таня, позвали его съездить на Арское кладбище – разгрести снег на могиле их мужа и отца.

Зима в том году была снежная, могилу завалило по самую макушку железного обелиска со звездой. А снег падал, лениво кружился в сером сонном воздухе. Им пришлось долго отбрасывать его за металлическую ограду. И он себя удивился, что мать и дочь при подходе к могиле и после окончания уборки крестились. Он последовал их примеру, как учила его мама с раннего детства.

На обратном пути оказалось, что в церкви – у ворот кладбища – шла предрождественская служба. Зашли в нее и поставили свечи за упокой и во здравие родных и близких. Это было в его жизни впервые. Одну свечу он поставил перед иконой Спасителя во здравие своей любимой – с робкой надеждой, что Бог соединит их.

В холодном трамвае Вере Александровне уступили место, а он и Таня ехали стоя. Таня держалась рукой в варежке за ручку на спинке сидения. Сунув перчатку в карман шинели с недавно снятыми офицерскими погонами, он осторожно положил свою ладонь поверх Таниной варежки. Она помедлила, кинула на него снизу вверх то ли укоризненный, то ли озорной взгляд. И тихо вытянула кисть из-под его ладони.

И как после этого, думалось ему, можно было решиться на поцелуй и предложение стать ее мужем?..

Происходило это не так и давно – чуть больше полутора лет назад. Но как многое изменилось в их жизни! «Она другому отда-

на...» А ты стал супругом, жалеющим о поспешной и безрадостной потере холостяцкой свободы.

Миновав кирпичный забор знакомой пятнадцатой школы, Караваев свернул налево, в скудно освещенный проулок. И вскоре оказался на улице Ульяновых, напротив двухэтажного деревянного дома, прикрытого шеренгой старых лип. В нем некогда около года жила милая семейка с обыкновенным мальчиком Володей Ульяновым, ставшим студентом Казанского университета. Любителем шахмат и юриспруденции и не ведал тогда, до повешения своего брата, что пойдет другим путем. Чтобы через тридцать лет, опираясь на хитроумную большевистскую верхушку и доверчивую чернь, почти на целый век потрясти земной мир революциями и войнами.

По асфальту с тихим шуршанием скользили сухие листья. В вечерней мгле чернели липы и клены за железной оградой старого парка. Воздух был мягким и влажным. Чувствовалось приближение дождя.

Навстречу шла женщина в расклешенном пальто и круглой, без полей, шляпе. Знакомой показалась Караваеву ее походка – немного небрежная, с легким шепотом каблуков по тротуару. Он напряг зрение, узнал ее и преградил путь. Женщина удивленно отпрянула от него и остановилась.

– Таня! – сказал Караваев, не совсем уверенный, что это была она. – Здравствуй!

– Это ты, что ли, Шура? Напугал меня. Ну, здравствуй! А я тебя совсем не узнала. Я иду к маме – она простыла, занесу ей лекарства. А ты-то здесь как оказался?

– Из института, из здания на Толстого. Решил прогуляться по памятным разбитому сердцу местам. И, конечно, думал о тебе – вдруг да встреча наяву. Как-то странно даже: вот предо мной и мимолетное видение, и гений чистой красоты!

– По-прежнему весь в стихах, когда вокруг сплошная проза... И что же ты думал обо мне?

– Ты уже слышала: только хорошее. Вспомнил, что дом твой рядом. Ну и как в последний раз виделись, – уклончиво и с трудом подбирая слова, ответил Караваев.

Он иногда верил в символы, и эта встреча в осеннюю ночь взволновала его воображение.

– А я с мамой хочу повидаться, – сказала Таня. – Бабушка с дедушкой приехали из Москвы, с ними поболтаю.

– Чего же ты одна?

– Марат на работе. Надеюсь, придет позднее. Если не напьется с кем-то.

Они стояли близко друг к другу, и Караваев не знал – проститься или проводить Таню до дома.

Над их головами в черных ветвях лип прошелестел ветер, и несколько листьев закружились в красноватом свете фонаря. Жаль, что он почти не видел ее лица, особенно глаз и губ. Он так любил ее глаза – каре-зеленые, светящиеся изнутри призывным светом. Он бы вечно глядел в них с благоговейным восторгом. И любовался бы ее губами. Свежими, как не сорванная с куста малина. И никем не оскверненными грубым похотливым поцелуем.

Оставалось внимать музыке ее голоса. Милому певучему голосу, произносящему слова с неуловимым казанским акцентом. И как всегда, он заранее страдал, что этому очарованию скоро наступит конец.

– А ты работаешь? – спросил Караваев.

– Работаю, но, наверно, брошу! К тому же со следующего года в техникуме истории не будет.

– Почему?

– Раньше к нам шли учиться после семилетки и преподавались все общеобразовательные предметы, чтобы после техникума можно было поступить в институт. А сейчас набирают ребят с десятилеткой и преподают только специальные дисциплины. Боюсь, придется идти в школу историчкой, а так не хочется!.. Правда, директор предлагает переквалифицироваться на политэкономии. Придется отпуск на зубрежку и написание лекций потратить, чтобы в техникуме остаться... Ты проводи меня, если не спешишь.

«И вот иду, как в юности», – пропел про себя Караваев, когда они пошли рядом.

– И, вообще, работа ужасно неинтересная! – говорила Таня и с раздражением в голосе. – Вчера парторг ни с того, ни с сего потребовала: сделайте доклад. Я отказалась. Она настаивает, пристала – не отцепишься. Снова пришлось ругаться! Не можем с ней ужиться никак. Понимаешь, грубая, настырная. Ну, самая что ни на есть баба! Никакого такта, подхода... И вот мне к седьмому ноября надо писать доклад, да еще и на трибуну вылезать – читать. Хотя это ее обязанность, парторга. Но она не умеет и не хочет в этом признаться.

А девятого ноября у Татьяны – день рождения, исполнится двадцать семь лет. Столько же будет и ему ровно двумя месяцами позднее.

– Да плюнь ты на эту стерву! Плетью обуха не перешибешь, – заметил Караваев.

Он не любил, когда о людях говорили плохо из личной антипатии. И вспомнил, что в восьмом классе невзлюбившая Таню учительница литературы и русского за острый язык и независимый характер оставила девочку на второй год, несмотря на хлопоты матери и ее милицейского начальства.

А когда Караваев на ее вопрос отвечал, что закончил четверть или год на пятерки, она пренебрежительно кидала: «Так ты же зубрила!..» Ему обидно было слышать это потому, что он на зубрежку был не способен из-за лени. Но больше потому, что она не верила в его способности. Даже когда он сдал выпускные экзамены в суворовском на золотую медаль. А, может, просто дразнила его, уберегала от зазнайства.

– Ну, ты подумай, Шура, какой может быть интерес к работе, если они получают по тысяче-тысяче двести рублей, а я жалкие пятьсот восемьдесят. И приходится ездить через весь город в такую даль!

«Вот в чем сермяга, – мысленно усмехнулся Караваев. – Все же Костя был прав».

– Дело ведь не только в деньгах, – возразил он вслух.

– Конечно. Но и в них тоже. Не святым же духом питаться.

Идеалист ты неисправимый, Шура, – снисходительно засмеялась Тania. – Любишь то, что нельзя пощупать руками – стихи, театр. Что еще?.. А вот когда и работать неинтересно, тяжело вдвойне... А у тебя как дела? Не женился еще?

Относительно себя самой она права: пощупать ее не удалось. И уже не доведется... А вслух, с намеком на их прошлое, соврал:

– Нет. Я, как и прежде, никому не нужен.

Лето, проведенное с женой частично в Вятских Полянах, а потом в Берсутском доме отдыха на Каме не хотелось вспоминать. Гале он ничего не сказал, но разрыв с ней для себя считал делом решенным.

– А ты как с Маратом живешь?

– По-прежнему... Плохое чередуется со средним, среднее с плохим. Хорошего не бывает.

В словах Тани слышалась жалоба и усталость. И Караваев подумал, что она, кажется, со всем примирилась и ни о чем не жалеет. Никогда не мог предположить, что придется жалеть ее. О ней – другое дело. Вот скоро простятся – и снова будет тосковать, видеть сны, как признается ей в любви. Обнимает и ласкает ее, и она отвечает взаимностью.

– Помнишь, – сказал он, – как-то ранней весной мы шли здесь, и мальчишки кидали в нас снежками? А сумасшедшая старуха пропела нам вслед похабную частушку.

– Нет, не помню! Они в меня всегда кидали. А та несчастная старуха давно умерла.

Остановились у двухэтажного деревянного дома с высоким крыльцом. Караваев бросил взгляд на два верхних крайних окна – в них горел свет, и за тюлевыми занавесками промелькнула чья-то тень. Вспомнилась такая же осенняя ночь. Он стоял вот под тем тополем напротив, шел дождь, и он, прислонив голову к сырой шершавой коре дерева, смотрел на эти окна в надежде, что откроется шторка и покажется лицо Тани...

Тогда ему было семнадцать лет.

– Приходи на праздники, – сказала Таня.

В полумраке глаза ее казались больше и глубже. Свет из окна пронизывал и как будто дрожал в ее пышных кудрях, выпадающих из-под шляпки.

– Спасибо, не смогу! Надо к маме и сестрам съездить.

На самом деле в его кармане лежал заранее купленный билет на поезд до Вятских Полян, к Гале.

Татьяна провернула несколько раз ручку старинного, еще до-революционного звонка на косяке – слева от двустворчатой двери. Сверху, сквозь окно веранды, в темноту пролился знакомый звон старинного медного колокольчика.

Он не стал дожидаться, пока Вера Александровна спустится со второго этажа и откроет дверь, простился и пошел обратным путем по перекошенным плитам скользкого тротуара. Когда обернулся, Тани уже не было на крыльце. Только из жизни его, подумал он, она не исчезнет никогда. И на ум пришло, как молитва, сулящая вечное страдание, тютчевское четверостишие:

*О, вещь душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..*

Так неужели и он до конца дней своих обречен биться «на пороге как бы двойного бытия?..» А Таня останется в его тоскующей душе «одной заветною» недостижимой звездой?..

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

Владимир Иванович Безухов, одинокий мужчина немного за пятьдесят, ехал на стареньком «опельке» по городской окраине, где прошло его детство, стараясь не слишком злоупотреблять эстетически невыдержанными выражениями в адрес дорожных служб и органов местного самоуправления. Хотя крайне трудно не сказать пару ласковых, когда асфальт, всего-то с месяц назад профессионально отремонтированный ямочным ремонтом, вновь напоминал не взлётную полосу международного аэропорта, а фронтную грунтовку, по которой только что отбомбилась штурмовая авиация противника.

И авто, и Безухов были, как говорится, на излёте, но и машина, и её хозяин время от времени ещё пытались пыжиться, представлять из себя... То «Опель» начнёт перегонки устраивать со свеженькой иномарочкой, и – опозорится... То Владимир Иванович возле вполне перспективной на мужской взгляд молодухи под сороковник примется приплясывать, глазки строить, и – тоже бесполезняк...

Безухов с грустью посматривал на старые, обветшавшие, доживающие свой век домишки, бурлившие когда-то жизнеутверждающим весельем и с трудом контролируемой рождаемостью. Теперь они гнилыми зубами торчали в стройном ряду барских хором новоявленных хозяев жизни, уныло ожидая своей очереди на хирургическое вмешательство. Их дряхлеющие хозяева грели старые косточки на завалинках, с тоской поглядывая куда-то в неведомое, припоминая выпавшую на их долюшку несправедливость и выпрашивая у высших сил хотя бы ещё один дополнительный денёчек на этом свете за незаслуженно пережитое в молодости.

Владимир Иванович на судьбу не жаловался, каской по Горбатову мосту не стучал. Он вообще никому и никогда не стучал,

потихоньку преуспевая на китайском рынке ларьком с бочковыми французскими духами на разлив. Не очень, конечно, не Газпром, но на жизнь хватало.

Парфюм был вполне приличного качества, не хуже, нежели за тонированными, пускающими солнечные зайчики витринами, так называемых фирменных магазинов. Женщины попроще, например, никогда не морщились, проводя пробничком возле чуткого носика, да и рыночные бичи всегда уважительно отзывались о безуховском товаре на вкус. Да и с какой стати должно быть хуже, если и ларьки, и бутики затаривались в одном и том же месте.

По обочине бодрым шагом семенил присушенный временем старичок. И не порожняком, а по доброй стариковской привычке основательно гружёный впечатляющих размеров рюкзаком за плечами, и двумя, так же забитыми под завязку и много повидавшими в своей жизни, сумками. По одной в каждой маленькой, усохшей, и оттого похожей издалека на куриную лапку, руке. Владимир Иванович мёлком, краем глаза глянул на дедка, пришипленного поклажей к земле, – не развалится ли тот от старости, не рассыплется ли прямо под колёса, – и взял чуть левее от греха подальше...

Но и одного, пусть мимолётного, взгляда хватило, чтобы уловить нечто родное и близкое в цыплячьей стариковской фигурке, окатившее далёким и радостным. Нога Безухова автоматически сбросила «газ», и переместилась на педаль тормоза. Он вспомнил...

...Когда Ушастому – так одноклассники мгновенно, при первой же перекличке переиначили Вовкину фамилию Безухов – минуло одиннадцать, в школе появился новый преподаватель английского языка. Маленький, сухонький, необычайно живой, как дворняжка, обитавшая возле столовой, инициативный как, классный руководитель, доставшая народ бесконечными сборами макулатуры и субботниками по озеленению пришкольной территории. Не особо напрягая младенческие мозги, пацаны присвоили ему прозвище – Англичанин, по издревле сложившейся ассоциации.

Типа физкультура – физрук, химия – химичка, а староста – учительская подпевала и дура набитая.

Как оказалось в дальнейшем, учитель, кроме скромненького английского, обладал ещё несколькими несомненными дарованиями, так пригодившимися в дальнейшем всему обучающему и обучаемому коллективу Вовкиной альма-матер.

Буквально через неделю он настоял на прослушивании детей на предмет обнаружения музыкального слуха. Всех поголовно! Как пожелавших выявить скрытый доселе вокальный талант, так и принуждённых к этому насильственным способом. В пожелавших, кстати, оказались только двое его сыновей, вместе с Англичанином пришедшие в школу: Юра – ровесник Ушастого и Коленька – годом помладше, несколько старост, звеньевых, три отличника да два десятка девочек, возмнивших о себе ещё с первого класса. Остальные стали приведёнными добровольно-принудительно.

Цель мероприятия: выявление талантов, не приобщённых пока к прекрасному, для создания школьного хора и кружка фанфаристов и барабанщиков. Хор в ближайшем будущем должен услаждать своими ангельскими голосами слух неподкупных жюри всевозможных смотров художественной самодеятельности, поражая почти профессиональным мастерством. А юные фанфаристы и барабанщики – стать неотъемлемой частью всех партийных и комсомольских торжественных заседаний, посвящённых либо светлой дате, либо тяжёлой утрате. И всё это культурное великолепие должно будет осуществляться под чутким руководством Англичанина.

Вовка ещё с осени и без Англичанина твёрдо встал на тернистый путь музыкального познания. Не очень, конечно, с желанием, но противопоставить волевому и болевому родительскому решению – вывести ребёнка в люди, ему было нечего. Не помог даже самый надёжный способ, к которому Вовка прибегал только в случае очень большой опасности для собственного зада. В этот раз догнали... Поэтому, уже начавшему свой творческий путь Ушастому, удалось-таки промышлять в унисон одной из клавиш раздолбан-

ного пианино, когда Англичанин надавил на белый пластик своим длинным и тонким пальцем. То есть испустить примерно такой же высоты и чистоты звук, какой с трудом прокряхтел инструмент, изнурённый длительной игрой на нём любознательных детишек. В основном – в восемь рук и задними частями тела.

Учитель светился счастьем от выдающихся способностей Ушастого, а когда узнал, что Вовка уже ходит учиться музыке, засуетился вдоль выстроившихся в очередь соискателей проблеть похоже с пианинной клавишей. Воздевая к небу тошенькие руки, он с упоением рассказывал пихавшим друг друга локтями наследных токарей, фрезеровщиков и обрубщиков чугунолитейного цеха, как прекрасны Моцарт и Сальери, Чайковский и Гендель. Какое это счастье: слушать чудесную музыку...

И не просто слушать, а понимать, что именно хотел выразить великий композитор вот таким, к примеру, тремоло во второй части адажио-анданте... (Он тут же воспроизводил это понятное только просвещённым «тремоло» тоненьким, не сказать бы – козлиным – тенорком.)

И какие мысли обуревали творца в момент вдохновения...

И как непередаваемо прекрасно звучит верхнее «ля» в сонате «Аппассионате»...

Правда, Лев Моисеевич никогда не забывал на всякий случай упомянуть: соната, дети, является любимым произведением вождя мирового пролетариата и создателя государства рабочих и крестьян – Владимира Ильича Ленина. А как же иначе? Фамилия Англичанина была Карналь, при рождении родители нарекли его Лёвой, а отчество досталось от отца – Моисеевич.

Педагогический состав школы, весьма остренький на язычок, стал промеж себя называть его Обкарналь, явно намекая на некие обстоятельства, связанные с национальностью... Намёк каким-то образом просочился в ученическую среду. Детей Льва Моисеевича тут же переименовали в «братьев, которых обкорнали», совершенно не понимая по молодости лет: как так обкорнали и в каком конкретно месте...

Ещё Англичанин был безмерно рад тому совпадению, что Ушастый ходил в ту же музыкальную школу, куда он пристроил

и своих сыновей: Юрочку с Коленькой. Правда, его очень огорчило одно обстоятельство. Что Вовочка Безухов (все ученики с первого дня стали для него Танечками, Манечками, Димочками и Севочками) осваивал не скрипочку или фортепьяно, как все нормальные детки, а, извините за выражение, баян. Нормальные, по его мнению, должны были овладевать теми высокоинтеллектуальными инструментами, на которых пиликали и брэнчали его отпрыски, а не растягивать меха, как какие-нибудь беспородные подручные деревенских кузнецов.

Весь удручённый и недоумённый вид Обкарналя-старшего говорил: у него в голове не укладывается, как можно играть божественный Каприс, соч. 1 № 24 Паганини на баяне? Это, простите, – ни в какие ворота. Это, если провести кое-какие параллели, всё равно, что писать нежные и прозрачные акварели малярным валиком... Или рядом с гениальным и экспрессивным «Чёрным квадратом» аристократа Малевича повесить для всеобщего обозрения измызганный прямоугольник фартука дворника Валиахметова...

Его где-то даже оскорбляло такое отношение к серьёзной музыке, созданной для скрипочки, виолончельки или фортепьянки. «На гармониях, – считал руководитель будущего хора и ансамбля фанфаристов и барабанщиков, – пожалуйста! Лабайте, сколько влезет «Барыню» или «Цыганочку» с выходом в сопровождении ансамбля балалаечников. Или другую народную музыку. «Во поле берёза стояла», например. Лично он – не против! На здоровье, как говорится. Наяривайте! Но не Паганини же!»

Правда, считал так только про себя, не высказывая крамолы вслух. Ибо был Лев Моисеевич от рождения евреем, «обкарналь» в младенчестве и не гегемон. А гены невинно убиенных горячей революционной рукой и бдительной государственной безопасностью постоянно напоминали ему: лучше десять раз не к месту вспомнить, кому все вокруг обязаны такой распрекрасной и замечательной своей жизнью, чем один раз не вовремя – забыть.

В хор Вовка был с трудом принят вторым голосом вместе с другими претендентами на победы в конкурсах художественной самодеятельности, сумевшими попасть в унисон хотя бы одной извлечённой из фортепьяно ноте. В фанфаристы не попал по вине толстогубости, хотя спал и видел себя с трубой на фоне восходящего солнца во главе красной конницы, оглашающим окрестности сигналом к атаке. Зато в барабанщики прошёл вне конкурса по очень простой причине. Если для музыкальной школы он был ребёнком, который, может быть, и сумеет сыграть «Яблочко» после успешного окончания, то для ударного ансамбля торжественных совещаний оказался безусловным талантом. Вовка обладал отменным чувством ритма.

Уже через месяц слава о симфоническом трубном оркестре восьмилетней школы триумфально шагала по району.

От чистого, нежного призыва фанфар и барабанов затуманивался взор комсомольских вожаков, выступали слёзы на глазах многих живых ещё в ту пору участников удачного штурма Зимнего дворца, а окрестные дворняжки поджимали хвосты, как какие-нибудь трусливые шакалы.

Благодаря неистощимому энтузиазму руководителя фанфаристов и барабанщиков, старавшегося засунуть свой самодеятельный коллектив во все дырки, куда надо и не надо, Ушастому удалось посмотреть мир.

Он посетил все места Боевой и Трудовой славы своего района и соседнего – раз.

Дворец культуры глухонемых – два. Там было небольшое выступление, которое, кстати, очень понравилось присутствующим. Приглашали ещё, только просили играть чуточку погромче. Тогда, мол, можно будет обойтись без сурдоперевода.

И, разумеется, святая святых – актовъй зал районного Комитета Коммунистической партии, увешанный орденосными портретами выдающихся деятелей.

Ему даже довелось попасть на первую полосу заводской многотиражки «Красный болт», над названием которой игриво похи-

хикивали в цехах и отделах наиболее озабоченные одиночеством женщины. Дело было так...

Случилось как-то очередное торжественное мероприятие, приуроченное к какой-то знаменательной дате. То ли к первой эмиграции Владимира Ильича, то ли к постройке шалаша в Разливе. Областной драмтеатр гостеприимно распахнул ворота храма искусств для проведения всенародного праздника. Церемонию открывал сводный ансамбль фанфаристов и барабанщиков.

Заводское средство массовой информации не могло пройти мимо столь знаменательного события. Пресса прислала стенографиста, для дословного документирования выступлений первых лиц, и фотографа.

Пишущая часть газеты навестила карандаш. Снимающая, прищуриваясь в видоискатель как в прицел оптической винтовки, металась по залу в поисках удачного ракурса. Ни одно маломальски значимое лицо не должно было выпасть из кадра. Иначе отдел кадров мог перепрофилировать фотографа в формовщика.

Наконец нужное место – из центрального прохода зрительного зала – было найдено. Президиум вмещался полностью, включая первого заместителя, второго секретаря и графин с краю.

В историю попал и сводный школьный ансамбль исполнителей. Пионеры, прибывшие для приветствия ветеранов, участников и передового авангарда советского народа, стояли перед первым зрительским рядом, прижимаясь задней частью к сцене с кумачовым сукном президиума, а лицом к партеру, амфитеатру, бельэтажу и светлому будущему всего человечества.

Несознательная массовка зрительного зала, выловленная для мероприятия, страстно желала перерыва и буфета.

Наконец самое главное лицо, удовлетворённо окинув оком зал, благосклонно кивнуло Льву Моисеевичу. И началось...

Фанфаристы воздели к небу свои фанфары, издавая трубные звуки, напоминающие песню лося, прущего на свадьбу к своей любимой. Барабанщики старательно выстукивали тревожную дробь, как при приведении в исполнение высшей меры наказания во времена проклятого царского режима. Самый главный за кума-

човым столом президиума надул лицо, а фотограф застрочил из своего фотоаппарата, как из пулемёта системы «максим».

Так были сделаны исторические кадры для «Красного болта».

Когда газетный тираж ушёл в массы, восторженную физиономию Ушастого сходу разглядеть никому не удалось. В самый ответственный момент – момент запечатления, когда Вовка виртуозно стучал в барабан, его вдохновенную личность заслонил раструб духового инструмента, в который дул соседний музыкант.

Так бы и прошёл этот выдающийся факт безуховского детства безвестным для общественности, родни и соседей, если бы безнадёжную, казалось бы, для опознания Вовкиной личности ситуацию не разрушила мама.

Взяв в руки увеличительное стекло, она безошибочно вычислила на фото не только графин с краю и первое лицо, но и любимое чадо. По едва заметному светлому пятну на чёрных выходных брюках. Чадо посадило пятнышко, пнув коленом свежеекрашенную белилами дверь класса, а у мамы потом долго горела огнём ладошка, отбитая об упитанный Вовкин зад.

Парадные штаны были выданы Ушастому всего на один день, поскольку школьная форма не успела просохнуть после стирки, и никто даже близко не мог себе представить столь трагических для праздничной одежды последствий.

Но случилось так, как случилось. Мама понемногу, с большим трудом вынуждена была смириться с порчей имущества. Тем не менее, простить себе этот день долго не могла. Лучше бы уж прогулял Вовка...

Произошёл сей казус за неделю до знаменательной встречи с фотокором «Красного болта». Перед началом занятий Ушастый по недосмотру вляпался штанами в дверь, затем по недомыслию не придал случившемуся подобающего значения и, пока шли уроки, краска успела подсохнуть.

Маме не удалось до конца справиться с пятном вечером, хотя она провоняла все окрестности бензином, ожесточённо пытаясь оттереть ввевшуюся краску. А вот с Вовкой за нечаянное пятно ей справиться – удалось. Вляпальщик получил по заслугам.

Воистину не знаешь, где найдёшь, где потеряешь! Кто бы мог подумать, что в дальнейшем именно это злополучное пятнышко окажется самым весомым аргументом при опознании!

Когда мама убедила себя в правильности проведённой идентификации, фотографию вырезали из газеты, устроили в изготовленную папой из штукатурной дранки рамочку и повесили рядом с телевизором. Теперь соседи, приходившие посмотреть на диковинный голубой экран, могли фактически убедиться в безусловной Вовкиной талантливости.

– Не знаю... – обиженно поджимала губы мама Безухова, сумевшая родить самородка Вовку, на претензии толстой соседки, которая на каждом углу трещала о том, будто именно на её сыночка наводили кинокамеру во время праздничной Первомайской демонстрации. Когда тот шёл с папой в девятнадцатом ряду колонны трудящихся третьего механического цеха восьмым справа, если со стороны трибуны. – Может быть, кого и показывали по телевизору, не видела. А моего – в газетах фотографируют на самой первой полосе!

И мама Ушастого торжественно, как памятник вождю на центральной площади, протягивала руку к художественно оформленной рамочке, можно даже сказать – багету, с пятном на штанах.

По правде говоря, в отношении проведённого исследования возникали иной раз инсинуации со стороны отдельных личностей, не имевших увеличительного стекла. Они пытались усомниться в независимости экспертизы. Говорили, будто там вообще невозможно никого различить, даже самое главное лицо, не то что какое-то пятнышко. Мама как скала стояла на своём – мой!

Когда спорная ситуация с запотоколированной личностью на фото окончательно разрешилась в пользу семьи Безуховых, Вовку стал мучить вполне закономерный вопрос: это как же так? Выходит, ранее он пострадал зря? Ведь если бы вещественное доказательство сразу вывели бензином, Вовка бы не получил? Или получил значительно меньше? Правильно? Но, простите, как бы

потом удалось доказать, что на торжестве по поводу то ли первой эмиграции Владимира Ильича в Швейцарию, то ли в честь закладки шалаша в Разливе барабанит именно он?!

Вовка хотел предъявить претензии и потребовать полной реабилитации! Потом передумал, заменив призрачную реабилитацию на новый резиновый мяч.

Счастливая мама поцеловала сына в макушку и прослезилась. Вовка тоже расчувствовался и в порыве великодушия вообще безвозмездно простил маме свои незаслуженные страдания за так пригодившуюся в дальнейшем улику.

На лето старшие Безуховы нашептались в темноте отправить сына на пару недель в деревню к бабушке Агриппине. Им от Вовки отдохнуть, а ему – молочка парного попить.

Прослышав про такое дело, Вовка незамедлительно выпросил у Льва Моисеевича фанфару на все каникулы в личное пользование. Для повышения исполнительского мастерства и духового совершенства. Светлая мечта о коннице и трубаче на фоне алого знамени не покидала юное, но вполне уже патриотическое сердце.

Лев Моисеевич снова с долей скептицизма посмотрел на губы Ушастого, но инструмент выдал: дерзай, молодое поколение!

Вовка, сгорая от нетерпения, примчался домой и тут же попытался начать репетиции, не дожидаясь отъезда в деревню. Но неожиданно восстала коммунальная квартира, далёкая от высокого искусства.

Папа быстренько засунул инструмент на шифоньер, как можно ближе к стенке, лыжам и подшивке «Роман – газеты». Музыкальные занятия Вовке пришлось отложить. Мальчик время от времени, таясь от родителей, доставал фанфару, тихонечко дул в мундштук, разворачивал красный вымпел, прикрепленный к трубе, затем старательно стирал пыль и снова аккуратно укладывал на отведенное место сверкающее великолепие.

Мама полтора месяца интенсивно переписывалась со свекровью. Бабка интенсивно отпихивалась, но, в конце концов, согла-

силась потерпеть внука целый месяц. Родители обрадовались в два раза сильнее, так как рассчитывали только на половину дарованных им ночей, и в честь такого праздника прикупили новое постельное бельё...

Потом две недели поджидали подходящего графика знакомой проводницы общего вагона, обещавшей присмотреть за Вовкой во время длительного четырёхчасового пути. Потом, выехав на вокзал на три часа раньше, чтобы не опоздать, два часа провожали и напутствовали...

Из вагона младший Безухов появился в сопровождении чемодана с гостинцами, блестящего инструмента с алым вымпелом, плескавшимся на ветру как флаг на Рейхстаге, и с пионерским галстуком на шее.

Галстук Вовка не снимал с самого Дня пионерии. Как только приняли – так и не снимал. Ну, может, исключительно, когда в корыте его мыли. Или когда он спать укладывался. Только тогда мама уговаривала Вовку развязать узел под её честное пионерское... Ну, что она всю ночь глаз не сомкнёт, а за частицей революционного красного знамени обязательно присматривать будет.

...– Бабуля, – сразу, как только его высадили на нужной станции к встречающей старушке, заговорщицки начал Вовка, – чего я сейчас тебе покажу...

– Чего? – умилённо сложила руки под грудью бабушка Агриппина Егорьевна Безухова, или, как запросто её звал внук, баба Грапа.

Внука старушка любила. Она его маму терпела с трудом. Уже второй десяток лет понять не могла, чего её умный и красивый сын нашёл в этой пигалице. Ни кожи, ни рожи... И от внука-то Агриппина Егорьевна отнекивалась просто так, досадить чтобы. А на самом деле едва дождалась...

– А вот чего!

Вовка надул щёки и со всей дури протрубил приветственный марш. Тревожно запрядала ушами старая станционная кляча, вспомнившая свою кавалерийскую юность. С надеждой осмотревшись по сторонам, широко перекрестился дед с окладистой

бородой, в галифе непонятно каких годов. А баба Грапа, торопливо подталкивая Вовку в спину и оглядываясь – не причинили ли ещё кому они внезапного беспокойства – забормотала:

– Потом, потом. Вот домой придём, там и поиграешь.

По прибытии к приземистой землянке с примыкавшим огородом соток на тридцать, Ушастый не преминул повторить духовое приветствие. Бабе Грапе исполнение понравилась несколько не меньше, чем на вокзале. Поморщившись, она торопливо отправила горластого солиста в огород – в самый дальний конец. Посмотреть, и, если забрели, погнать соседских кур, повадившихся лазить через дыру в плетне и склёвывать чужих червей.

– У наших правое крыло синими чернилами намазано – эти пусть клюют. А чужие, не меченые – соседские. Этих гони – пусть у себя обедают! И не перепутай. Наши – синие! – распорядилась баба Грапа.

Ушастый, по молодости лет не на всю глубину сознания проникшийся идеями марксизма-ленинизма, не подозревавший, что враг не дремлет, не придал значения бабушкиным словам.

Нет, он, конечно, хотел, было, выяснить: как это наши – синие, когда должны быть красные, только красные и никакие другие. И наших синих, скажем, он никогда не встречал ни в кино, ни по телевизору. Но, опять же, по детскому идеологическому недомыслию значения несоответствию не придал и не сообщил куда следует.

Повезло старушке: Вовке было совсем не до серьёзных классовых разбирательств. Некогда! Он, счастливый грядущим сольным выступлением, дунул в огород заниматься благим делом охраны государственной бабушкиной границы, оставив разъяснительную беседу с несознательным элементом на потом. Но это пресловутое «потом», как правило, трансформируется во всем известное «никогда». Так случилось и в этот раз: баба Грапа дожила свой безыдейный век в деревне, а не в другом пенитенциарном заведении.

Служба Ушастого пошла хорошо с самого начала. Он незаметно подкрадывался то к одной, то к другой увлечёйся червячком

курочке без синей метки, прицеливал инструмент, и во всю мощь лёгких играл бедняжке в ухо. Не ожидавшее столь вероломного выступления пернатое благополучно затягивало глаза мутной плёночкой и бухалось в обморок от впечатлений. Вовка брал бездыханное тело и просовывал обратно в дырку, через которую несчастная наведывалась в гости к бабушкиному огороду.

Правда, менее впечатлительные нарушительницы всё же своими ногами просачивались в найденное с трудом отверстие, вдоволь наметавшись вдоль забора с растопыренными крыльями.

Так продолжалось часа два. Больше поупражняться в мастерстве Ушастому не дали. На огород припылил Колька Бурундук, хозяин чужой животины, проживавший по соседству, через плетень.

Бурундуком Кольку прозвали деревенские за полосы на спине, которые он получил от первой жены в медовый месяц при помощи железных граблей. Этим немудрёным сельскохозяйственным инвентарём молодая пыталась избавить Кольку от пагубного пристрастия к алкогольной продукции. Правда, целительный в основном метод не возымел на супруга должного воздействия, оставив лишь отметины на тыльной стороне туловища. В память о счастливой супружеской жизни.

Бурундук явился хмельной и хмурый, не ведая, где и на какие шиши продолжить начатое, он уже и не помнил, когда. Пришёл не один – с топором.

Молча посмотрев на трубача, Колька поплевал на лезвие топора, попробовал пальцем, снова покосился на поникшего трубадура и тяжело вздохнул. Ушастый пустил тихие ветры...

Колька снова тяжело вздохнул, загнал заблудших курей в свой огород, нарубил тальника, затейливым вязанием заделал дыру в плетне, и только после этого вежливо попросил пионера, чтобы и духу Вовкиного... вместе с его духопёрным инструментом... ближе, чем на ружейный выстрел... не было.

Выстрел, если что, висит у него – Бурундука – на стене возле окошка. И не просто для красного словца, а заряженный солью против деревенских претендентов на его личные хреновые уго-

дья, затянувшие весь огород. Так что, смотри, музыкант! Ежели что, он – Николай Бурундук – завсегда готов применить собственное незарегистрированное ружьё против любого нарушения спокойствия и приусадебного хозяйства. А этот контрабас, который пионер из города приволок, чтобы курей в обморок приводить, он в случае чего... об угол бани... если ещё раз повторится...

Вовкина бабушка не зря прожила жизнь. Уж чего-чего, а дипломатии поднахваталась. Углядев сомлевающего внука и нависшего над музыкантом оружие возмездия, она юркнула в потайной уголок сеней, прихватила кой-чего, спрятав под фартуком, шмыгнула в огород и со значением сунула в карман Колькиной телогрейки. Разгоревшийся, было, конфликт был погашен горючими средствами.

Следом пришёл другой сосед, дед Митрий Иванович и – как будто договорился с Бурундуком – с такими же нижайшими просьбами. Нет, его куры остались в добром психическом здравии, так как в бабкин огород не лазали – далековато. Зато дед имел в хозяйстве одну унылую старую кобылу, последних сил которой хватало только полведра овса в день пережевать стёршимися жёлтыми зубами, если хорошенько запарить. Сегодня же случилось нечто небывалое. Нет, кобыла не полезла в чужой огород червей клевать. Но...

Как только Вовка начал играть для кур соседа Николая конармейские марши, такая прыть в ней пробудилась, доселе невиданная и неведомая... Стала лошадь вставать на дыбы и, как ни уговаривал её дед Митрий Иваныч вкусным чёрным сухарём, рваться на кобылью волю.

В конце концов разволновавшееся животное разломало стайку, одним махом перемахнуло через ограду и, раздувши гриву, унеслось совершеннейшим аллюром в дикие прерии... И вот только сейчас кобылу удалось выловить недалеко от колхозного табуна. И то лишь только потому, что далеко укандыбала, перестала слышать Вовкину музыку, а без искусства быстро выдохлась.

Баба Грапа, посоветовавшись с внуком, сообща решили: завтра с утра Вовка уйдёт подальше за деревню, на природу, и там

поупражняется в собственное своё удовольствие. Чтобы не нервировать понапрасну пожилую лошадь с одной стороны и соседское ружьё, заряженное солью – с другой, а наоборот – поразить лесных обитателей.

Вовка уснул счастливый. Ему приснилось знаменательное выступление в драмтеатре. В первом ряду сидели Митрий Иванович с кобылой, Бурундук со своими курами и баба Грапа со своими. В знак восхищения Вовкиным выступлением они размахивали первомайскими флажками.

Правда бабушка немного подпортила настроение. Она даже во сне держала в руках не красное, а синее знамя. Вот ведь вредная какая!

Проснувшись ближе к полудню, нахрустевшись свежим, с навозной грядки огурцом, надев сатиновые чёрные штаны, белую майку, повязав пионерский галстук на шею и уперев фанфару раструбом в бедро, как учил Лев Моисеевич, Ушастый походным маршем направился подальше. Не так далеко, конечно, как посылал вчера нетрезвый Бурундук, а как порешили с бабушкой. Природа затаилась в предвкушении...

Вовка оторвался от всей души. На ближайших к месту выступления деревьях пожухла листва... Как при землетрясении осыпались пара муравейников, а кукушка, ополоумев, вместо того, чтобы подсовывать свои, начала таскать в гнездо чужие яйца. Вот такая она – сила настоящего искусства!

Правда, без наполненных благоговейным трепетом слушателей конской породы и пернатого поголовья, бухающегося в обморок ещё на вступлении, репетиция показалась скучной, а потому быстро надоела. Какой же концертмейстер без благодарных зрителей!

Трубач, с развевающимся на шее алым галстуком и расправленным лёгким ветерком вымпелом цвета боевого красного знамени на фанфаре, направился обратно.

Не доходя до бабушкиного дома, пионеру Безухову Владимиру одиннадцати лет от роду, попался навстречу вчерашний сосед Бурундук. Немного после сильного опохмела, без топора, но и не один – с подспорьем...

Необходимо отметить следующее. Кроме кур у Кольки Бурундука в хозяйстве был ещё бык Борька – здоровенный пятилетний бугай. Очень неплохой производитель. Так говорили деревенские бабы, а бабы зря болтать не будут.

Бабы в этом деле – плохой производитель или хороший – толк понимают. К плохому и сами не пойдут, и скотину пожалеют. Они стоящее производство сразу вычисляли по внешнему, очень даже довольному виду своих коровинок, когда дамы, сверкая подёрнутыми мечтательной поволокой бесстыжими глазами, возвращались в родные стайки. И где-то даже немножко завидовали...

А Борька – прохиндей ещё тот. Он молоденьким был совсем, а уже на доярок заглядывал, на свиноводческий комплекс и даже на птицеферму по соседству. А как вырос, только держись, только успевай поворачиваться – пользовался неизменным успехом. Правда, немного зажрался, начинал иногда выкобениваться: то ему вымя маловато, то коровёнка тощевата...

По причине наличия у быка такого выдающегося генофонда, Бурундук Борьку холил и берёт, не загружая грязной крестьянской работой. Навоз вывозил на собственном горбу даже с похмелья, но быка держал в прекрасной форме и неограниченных возможностях. Именно для этих дел. Для коровьей улады и дальнейшего животноводческого приплоду.

И как не беречь, если Борька остался единственным источником пропитания и пропивания, так как жены у Кольки не было давно – последняя кормилица плюнула лет десять назад. С тех пор из женского роду в доме водились только куры. Да и птиц он держал только потому, что плодились они самостоятельно, прокорм добывали по чужим территориям, а завышенными требованиями, типа, когда ты нажрешься-то, в конце концов, не досаждали. Даже наоборот – молчаливо несли питательный пищевой продукт, не требующий при употреблении специальной кулинар-

ной подготовки и очень помогавший поутру. Если выпить штуки три.

Итак, Вовка Безухов шёл с одного конца деревни в хорошем настроении, а Колька Бурундук с Борькой с другого, но в несколько в ином расположении духа.

На другом конце проживала бабка Анисимовна. Одна одинёшенька. Старик её помер недавно по неизвестной причине, оставив богатое наследство. Старую, блудливую, однорогую коровёнку Зорьку, да недопитую бутылку антифриза, раздобытую где-то на станции в обмен на собственную медаль «За оборону Севастополя».

Дед и рад бы оставить чего поприличнее, но других орденов не заимел, два года проболтавшись по госпиталям в попытках выбраться с того света после тяжёлого ранения.

Выбраться сумел, но повоевать больше не довелось – комиссовали под чистую, и окромя медальки, полученной ещё во здравии, похвастать более ничем не мог. А когда неожиданно скончался неизвестно от чего возле полупустой бутылки антифриза – не осталось и «обороны Севастополя». Только ополовиненная охлаждающая жидкость, да сильно пожилая коровёнка.

А Зорька была блудливой и однорогой не от хорошей жизни. К старости она поднабралась ума и шастала по деревне, норovia забрести в чужие дворы, не просто так – от нечего делать. В хитрой голове теплилась надежда похлебать чего повкуснее. Как будто дома её не кормят. Кормят, ещё как! Старая, бывало, себе в леденце отказывала ради лишней горбушки для животины.

Но, опять же, ежели здраво рассуждать с коровьей точки зрения, своё-то куда денется? Бабка Анисимовна Зорькиного никогда не ела, не водилось за ней такого. Гости редко заходили, а если заскакивал кто – на солому не зарился. Так что торопиться Зорьке домой совсем незачем было. Вот она и блудила по гостям.

Что касемо рога, то корова потеряла красоту ещё в ранней молодости. В стаде, которое почему-то никак не хотело прини-

мать новенькую. Да и не всё стадо целиком, если честно, а так, одна самая симпатичная сильно усердствовала, на конфликт нарывалась. Видать, очень уж не хотела соперничества – Зорька-то хороша́ была в девках!

Во время то и дело вспыхивавших промеж домашних животных недоразумений, и лишилось старухино достояние одного из главных своих украшений.

Короче говоря, коровёнка была так себе, далеко не первой свежести и невестилась наверняка в последний раз. Даже непонятно, с какого перепугу бабку Анисимовну распёрло преподнести своей неказистой Зорьке не первого попавшегося под руку козла, а именно Борьку – первейшего на деревне красавца и ловеласа.

Если, скажем, старая рассматривала Зорьку только лишь как предмет продолжения рода, то для осеменения вполне хватило бы стерильного зоотехника в перчатках по плечо, клизмы и «Ветеринарно-санитарных правил воспроизводства крупного рогатого скота».

Но если учитывать и женскую точку зрения, женскую солидарность, то натуральный орган размножения, разумеется, со всех сторон предпочтительней самого современного и технологично-инструментария.

Короче, что уж там взбрело в голову двум престарелым бабам под старую задницу, Кольке было неведомо.

– Да куды ей... – упирался для приличия Бурундук. – Копыта пора откинуть, а туды ж...

– Ох, жисть... – причитала Анисимовна. – Надобно ей, Кольенька... Уж не откажи, милоч, вдове орденосца. Много ли нам осталось... Не обижу...

Колька Бурундук, хоть и не хотел связываться со старьём, всё же пожалел, припёрся с Борькой для выполнения договорных обязательств, позарившись на обещанный сердобольной бабкой литр сверху. Кроме полагавшегося по закону гонорара.

По прибытию на рабочее место, для, так сказать, разминки организма, Колька не спеша принял из бабкиных рук пригото-

ленную сверх верха кружку бражки. Предоплату, выражаясь экономическим языком.

Выдохнул, крикнул, занюхал рукавом фуфайки. Можно начинать...

Но тут заупрявился Борька. Едва только глянув на объект будущей животноводческой деятельности, ещё и не рассмотрев как следует, – давай морду воротить. Ни в какую! Зажрался, короче говоря! И это несмотря на то, что Анисимовна ленточку шёлковую на оставшийся рог Зорьке своей повязала и даже одеколоном «Шипр» под хвостом побрызгала. Не пожалела.

Бесполезно! Борька лопух жрёт и даже глазом в сторону невесты не ведёт.

– Ах, ты, батюшки! – всплеснула руками Анисимовна. – Чёй-то он, Коля?

– Кажись, витаминов надоть, туды ево... Ты это, не психуй. Сполним испоследнее желание твоей барышни, как уговаривались! – хохотнул Бурундук и тут же построжал в сторону напарника. – Ну-ка ты, скотина! Чо стоишь, бельма пялишь? Давай!

Фунт презрения! Борька, давно, видимо, уяснивший, кто в доме кормилец, кто право имеет, а кто на халяву в основном, обратил на мужика внимания ещё меньше, чем на корову, и потянулся за новой порцией салата.

Николай, уже поймавший тёплую волну принятого на душу аванса, начал всерьёз переживать по поводу остального гонорара, сменил гнев на милость и давай дружка своего стыдить похорошему:

– Как тебе, Борис, не совестно! Позоришь наш трудовой коллектив! Девушка со всей душой к тебе, кобелю, а ты, сволочь, морду свою наглуую воротишь! Глянь, какая нарядная! С дикалоном!

Но Борька как поворотил наглуую свою морду в сторону, так и стоит, флору пережёвывает. Будто всё происходящее его вовсе не касается. Будто витамины важней прироста поголовья. Будто он просто так в гости к Анисимовне зашёл – травки полужгать.

Николай аж испугался – может, забыл кормилец и поилец, как дело делать надо? А, может, и того хуже?! Ведь любому концу, в конце концов, приходит конец!

Пошептался Бурундук с Анисимовной, старая головой мотнула – согласна, и давай они вдвоём быка на путь истинный наставлять. Напоминать, что к чему при помощи Зорьки и личного примера. Только разделились. Анисимовна с переду напоминает: в губы целует, за шею обнимает свою ненаглядную, а Колька с заду пытается наглядно продемонстрировать... Чтобы вспомнил Борька, как на харчи зарабатывать.

Коровёнка аж захорошела вся, глазки – потупила, а хвост наоборот – задрала. Натё, мол, вам! Любуйтесь!

А Борьку, гада, как заклинило! Ничего, кроме лопуха, не видит!

Пришлось прибегнуть к последнему, безотказному народному средству.

У Анисимовны была припасена для дальнейшего тайного перегона корчага браги – душистой, ядрёной, на листьях смородины и взбродившем варенье настоящей. Литров десять. Хо-о-рошая! И она – вот ведь бабы народ какой, коли захотят, ничего для этого не пожалеют и с дороги не свернут – пожертвовала это лакомство, этот десерт для гурманов бурундуковского масштаба, Борьке.

– Пусть, – говорит наученная горьким жизненным опытом Анисимовна, – шары-то зальёт, кобель бессовестный, а там, глядишь, дело и сладится.

И подставила корчагу к Борькиной наглой морде.

Тот в этот раз упрямитесь не стал, принюхался, лизнул, засунул лицо в корчагу и с видимым удовольствием высосал весь замечательный продукт. Но вместо того, чтобы кинуться в объятия скромно ожидавшей в сторонке «молодухи» – как недавно наглядно напоминали ему Анисимовна спереди и Колька сзади – вдруг обиделся. Понял, наверное, с каких таких кипарисов ему такое удовольствие подвалило – бражка. Потом пригляделся внимательно к зардевшей Зорьке, сравнил количество вылаканного с внешним видом объекта последующей обязанности, и – обсерчал.

Не столько, мол, ему подали, и не настолько он зенки залил, чтобы за одно несчастное ведро на такую раскрасавицу кидаться! У него, между прочим, и так этого добра хватает. Рекордисток одних десятка полтора. И мясных! И молочных! И сама заведую-

щая фермой очень ещё ничего женщина! Что он, совсем спятил, безрогое чудовище голубить?! Не столько он выпил...

И с человеческой, скажем, позиции понять Борьку можно! Кому понравится на страшилище жениться! Даже за деньги. Разве что за очень большие.

И, конечно, не подумал Борька, каково в данной ситуации Анисимовне с Зорькой. Когда, вполне возможно, последний раз в жизни для них такое удовольствие...

Ну что тут ещё скажешь! Как ни нацеловывала Зорьку бабка Анисимовна в анфас, как ни намекал Бурундук с тылу – ничего не получилось. Бык набычился и стоял насмерть. То есть, само туловище стояло, а всё остальное – нет.

На том и разошлись. Зорька с Анисимовной остались несолоно хлебавши...

– Нёшто мало дикалоном побрэгала?.. – одновременно недоумевала и горевала Анисимовна. Знать бы ране, она бы, конечно, и всего пузырька не пожалела... Да как знать...

Зорька всерьёз задумалась о зоотехнике и маноцервикальном способе размножения. А куда деваться, если мужик пошёл такой недееспособный!

Борька с Колькой возвращались домой в разной степени удовлетворённости.

Николай – в принципе довольный дополнительными двумя хорошими кружками, которые ему удалось спереть из Борькиного ведра. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок.

Борька – раздражённый и оскорблённый. В крепкой обиде за попытку подсунуть дивчину не первой свежести практически за даром. Он только и поглядывал по сторонам, на кого бы обиду свою излить...

И тут навстречу, весьма кстати, в красном пионерском галстуке, с красным вымпелом, жёлтой шёлковой нитью привязанным к духовому инструменту, чуть ли не вприпрыжку от накотивших

на прогулке чувств – невинный пионер и городской житель Вовка Безухов.

Откуда было знать Ушастому – коммунальному обитателю, никогда в жизни не бывавшему в Испании на корриде, что с красными тряпками от быка желательно держаться подальше. Тем более от быка Борьки, слегка выпившего десятилитровое ведро бражки и очень оскорблённого...

Борька не поверил поначалу в такую удачу. Были бы руки – глаза бы протёр. Он даже приостановился от такого приятного сюрприза – не бланзит ли ему пионер после настойки – и мотанул башкой размером с моторное отделение трактора «Беларусь».

Бурундук, вальяжно наматавший на руку верёвку, продетую в кольцо в Борькином носу, миг оказался в зарослях бурьяна вверх ногами, где и заснул благополучно на старые дрожжи. А бычара, уяснив, что не бланзит ему пионер, удовлетворённо улыбнулся. Обстановка накалилась...

Теперь перед раздувающим ноздри и начавшим рыть траншею правым копытом Борькой стоял только Ушастый – с красным галстуком на шее и алым вымпелом на фанфаре.

Судя по налившимся яростью глазам быка, Борьке такая цветовая палитра пришлась не совсем по душе. Он начал надвигаться на Вовку, посматривая весьма недвусмысленно, решив, по всей видимости, весь нерастраченный на Зорьку пыл без остатка потратить на пионера.

Вовка слегка испугался, недоумённо поглядывая на расплывшуюся по сатиновым штанам мокроту, но на говядину это не произвело никакого впечатления. Вовка струсил сильнее, и ситуация запахла совсем нехорошо...

В последние мгновения брэнного существования пионер, которому, судя по сложившейся ситуации, не суждено уже было стать комсомольцем, вспомнил всю свою такую яркую, но такую короткую биографию. С особым удовлетворением Вовка отметил, что маме с папой для памяти останется триумфальное фото в центральной прессе. В багете возле телевизора...

А особенно Вовке припомнился почему-то вчерашний день и охранные мероприятия. Как он играл по огороду для кур дяди Коли, а помолодела вдруг конина соседа Митрия Ивановича. К чему это взбрело в голову, Безухов не знал, но умереть решил с музыкой.

Облизав губы, он набрал в грудь побольше воздуха, вскинул сверкающую на солнце фанфару в сторону бычьего мурла и грянул «Прощание славянки» громче, чем сводный духовой оркестр Министерства обороны во время торжественного прохождения войск Московского гарнизона по Красной площади в честь дня Победы.

Лев Моисеевич мог гордиться своим учеником!

Борька от неожиданности присел, потому как не бывал прежде на концертах симфонической музыки, потом вздыбился на задние ноги как породистый рысак, и попятился, удивлённо зыря в сторону музыкального инструмента.

Ушастый – пока вполне исправный мальчик, а не отбивная – узрел такую заминку в поведении Бориса, сообразил, в чью сторону фортуна поворачивается, и... дал репертуара ещё разок!

И тогда тот бугай, коровий угодник и пугатель пионерии, взревел, пытаясь попасть в тональность парадному маршу, и развернулся вокруг оси, словно бешеный флюгер в ураган. А затем, не обращая внимания на дорожные знаки и уминая молодняк лесопосадки, дал тяги, как самая последняя вороватая курица в чужом огороде. Да такой, что остановить его инерционные способности смогло только болото в пятнадцати верстах от деревни. В него как раз и увязла с разгона семисоткилограммовая туша по самое брюхо. Конная двуколка не справилась, пришлось вызывать трактор – вызволять Колькиного добытчика из беды.

Вот она – волшебная сила искусства! Так совершенное владение музыкальным инструментом помогло спасти жизнь Ушастому и призвать к строгому порядку возомнившего о себе быка Борьку!

Теперь, после памятного для всех участников происшествия, стоило только Кольке Бурундуку махнуть перед Борькиной мордой

пионерским галстуком, тот сразу плюхался перед ним на колени и безоговорочно сполнял самые невероятные Колькины прихоти. Любые! С самой захудалой и изнурённой колхозной диетой коровёнок, на которую указывал пальцем беспрерывно теперь пьяный и довольный поворотом судьбы руководитель проекта!

А вот Коленьке, младшему сыну Льва Моисеевича, волшебная сила искусства – не помогла!

Если Безухову от родителей достался слух вполне подходящий для барабана, трубы и кулака в ухо, то Юрку с Колькой Карналей природа наградила как и положено такой фамилии – очень даже приличными музыкальными данными. А Коля, как в голос твердили преподаватели, вообще обладал почти уникальным абсолютным слухом, открывающим невообразимые перспективы номинанства и лауреатства в дальнейшем.

Лелея абсолютный слух и грядущее блестящее будущее, папа Карналь втайне надеялся, в конце концов, конвертировать Коленькин талант в дополнительную статью семейного бюджета.

Нет. В миллионеры он не рвался. Боже упаси! А вот на достижение отечественного машиностроения – стиральную машину вместо прохудившегося оцинкованного корыта – глаз положил. Ради этих благородных целей – первой премии на Московском международном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского и стиралки с валиками для отжима белья – Лев Моисеевич не гнушался самых крайних мер.

Под страхом лишения наградных субботних сладостей за репетиционные успехи, папа Карналь строго-настрого запрещал будущему виртуозу смычка подходить к народным инструментам, по которым не щадя живота своего колошматили фанфаристы и барабанщики с будущим токарно-карусельного станка. Чтобы не травмировать Коленькины уши высокоидейным барабанным боем. Хотя юному дарованию тоже очень хотелось попасть на фотографию, как, например, некоторым наиболее удачливым обладателям пятнистых брючек. А чем он хуже?

Мальчик, по правде говоря, больше тянулся наворачивать на ударных, нежели пилить смычком по скрипичным струнам, убажывая папино воображение бесконечными гаммами и арпеджио.

И кто знает, окажись в тот злосчастный и поворотный день в руках юного скрипача более весомый, полноценный рабоче-крестьянский инструмент, судьба Коленькина могла сложиться совсем по-другому. А сложилось вот как...

Этим же летом, в то же самое время, когда Ушастик давал концерты популярной музыки для животноводческого комплекса бабы Грапиной деревни, Колю почистили щёткой перед выходом, строго напомнили о правилах поведения, и он нехотя поплёлся в музыкальную школу. Как всегда в обнимку с футляром, в котором хранилась скрипочка.

У Коли случилась небольшая неуспеваемость по выбранной папой для сынка специальности струнные инструменты. В музыкальной школе не бывает второгодников – по призванию же – и пробел в образовании пришлось навёрстывать в каникулы. За отдельную, небольшую совсем, плату. Плату, к слову сказать, ему обеспечил папа взамен новых зимних ботинок себе.

Навстречу советскому Паганини, глубоко засунув руки в карманы штанов, не зная чем заняться в свободное от родителей время, смачно сплёвывая сквозь зубы и перебрасываясь запрещёнными в приличном обществе выражениями, шла компания сопливых малолеток.

Коленьку приостановили с вполне естественной детской просьбой – закурить.

Коля – струнный музыкант из интеллигентной семьи – само собой разумеется, в десять лет пока не курил, только один раз попробовал.

Он так и сказал:

– Я пока не курю. Только один раз попробовал.

Вроде бы и всё, вопрос исчерпан, можно разбежаться в разные стороны. Но шпанят было много против одного Коли, разговор был начат и требовал продолжения.

– Тогда сыграй!

А Коля и играть-то ещё ничего толком не умел. Скрипка – инструмент трудный, нудный и долгий. «Чардаш» Монти или Гимн Советского Союза через месяц не исполнишь. Короче, играл Коленька на скрипке пока так же виртуозно, как Ушастый на трубе. И прикати он, как Безухов, в деревню – кур и быков приручить сумел бы не хуже. А, учитывая его способности, может быть, и лучше. Это уж как быку Борьке бы понравилось...

– Я только гамму...

– Ну, давай гамму...

Остановившие маленького мальчика пацаны курили, хулиганили и жили в рабочем районе. В высоком искусстве соображали мало. Если быть до конца точным и откровенным – ни бум-бум. В лучшем случае их музыкальные познания начинались и заканчивались новогодней песенкой «В лесу родилась ёлочка».

Больше скажу. Для них, что Давид Ойстрах музицирует, что пилорама дрова пилит – разница небольшая. От пилорамы даже пользы больше: есть, что в руки ухватить поувесистей, в случае чего...

Именно по причине музыкальной отсталости исполнение младшего из династии Карналей не впечатлило. Не напомнило лёгкое дуновенье ветерка в нежных, недавно раскрывшихся листочках, как раскрывал композиторскую тему Лев Моисеевич во время домашних Колиных упражнений. Даже несколько наоборот. Напомнило вой зубоврачебной дурмашины в школьном медицинском кабинете, куда всех насильственно затаскивали править зубное здоровье свинцовыми амальгамами.

Как только младший Обкарналь закончил играть хорошо выученную гамму, его толкнули в спину.

Коля упал в грязь беленькой рубашкой и чёрными штанишками, доставшимися в наследство от старшего брата Юры. Рядом ярким пятнышком багровела скрипочка...

Несмотря на фамилию и гены, Коля рос вполне советским мальчиком, а уж подвиг Матросова был готов совершить в любое время – хоть среди ночи разбуди. Он поднялся, взял инструмент

за гриф так, как его далёкие, ещё не освоившие юриспруденцию и огранку предки брали дубину, и пошёл на врага.

Но скрипочка-четвертушечка – оружие слишком лёгонькое и никчемушное для рукопашного боя. Не сапёрная лопатка. Она, естественно, не потянула против продукции пилорамы, появившейся откуда ни возьмись в руках противников, ничего не смыслящих в серьёзной музыке.

Колю побили. Инструмент ему не помог, быстро превратившись в щепу, похожую на тонкие лучинки, которыми растапливал печку зимним утром заботливый родитель. Чтобы у мальчиков не замерзли пальчики во время выполнения домашних музыкальных заданий.

Коленька был потрясён до глубины души, твёрдо решив в тот момент ни за какие коврижки не связывать свою жизнь с искусством. Не в нём волшебная сила!

Он начал пропускать занятия. Сначала выдумывал ангины, поносы и прочие неудобства, а потом откровенно впал в бузу и бросил музыкальную школу. Папочка Карналь в ответ впал в кому. Он очень сильно переживал по этому поводу, регулярно пытаюсь наставить на путь истинный надежду отечественного скрипичного искусства антипедагогическими методами.

Методы не принесли результата! В конечном итоге младший сын и основная надежда семьи стал шофером. Музыка, вполне возможно, потеряла гениального исполнителя, зато Коля жил спокойно: под его рукой теперь всегда лежала надёжная монтировка. Надёжнее любого искусства!

А, может, не в искусстве дело было? Может, зря в своё время оберегал своих мальчиков от фанфар и барабанов Лев Моисеевич? Ведь окажись в Колиных руках не деревянная скрипочка, а железная труба, вполне возможно, что волшебная металлическая сила искусства выручила бы и его? Как вырвала из лап необъезженного чудища в своё время Ушастика? Кто знает...

А вот Юра, старший из «братьев, которых обкорнали», сумел закончить музыкальную школу и отвращения к искусству в про-

цессе приобщения к прекрасному – не заработал. И в этом нет ничего удивительного: учился он по классу фортепьяно, и таскать с собой по улице тяжёлую и громоздкую бандуру ему не доводилось. Посему эксцессов, подобных происшествию с младшим братом – по дороге на занятия, и Ушастиком – во время гастрольной поездки на деревню к бабушке, с ним ни разу не произошло. А самые большие неприятности случались изредка только в самом начале познания фортепьянного мастерства.

Поскольку собственное пианино Карналям было сразу – вынь да положь – не по плечу, Юрочке весь первый год пришлось домашние задания выполнять на любовно настроенном самом папочкой школьном инструменте. До или после хоровых песнопений. На том самом, на котором играли ногами другие одарённые ребята.

В такие моменты не было большей радости для далёкой от классики детворы, нежели подкрасться незаметно сзади и... приобщиться к музыке, со всей силы наворачнув кулаком по клавишам...

На пятьдесят прожитых лет Юрий Львович Карналь – руководитель и дирижёр крупного выездного оркестра – получил звание Народного артиста. Нет, не Израиля – России...

Владимир Иванович Безухов, узнав в тяжелогружёном дедке Англичанина, секунду поколебался и... снова перенёс ногу с тормоза на «газ», вдавив педаль в пол. Машина поднапряглась, чихнула и сделала вид, будто рванула.

Лев Моисеевич поправил лямки рюкзака и шагнул подальше от дороги:

– Носятся тут без ума, – незлобиво проворчал он, – того и гляди сшибут.

Старый учитель английского был в эту минуту безмерно счастлив случившимся намердн.

Бывший ученик, побивший в стародавние времена младшенького, расколотивший в мелкие дрова Коленькину скрипочку, после трижды отдохнувший за разбой, а ныне возводивший барские

хоромы в двух переулках от учительской избушки, подарил Льву Моисеевичу пустые трёхлитровки.

Банки нашли строители в старых домах, на месте которых бывший ученик и нынешний уважаемый человек отстраивал свою, честным трудом заработанную собственность. Самому ему стеклопосуда теперь за ненадобностью. Пусть забирает старый еврей. Всё равно выбрасывать...

Этими банками и были набиты сумки и рюкзак износившегося вконец, но до сих пор в меру своих сил неугомонного Льва Моисеевича. Их он и оберегал, заслонив старческими мощами. Ими и был безмерно счастлив. Теперь можно будет больше насолить огурчиков с помидорчиками, которыми радовал маленький огородишко. Можно будет передать с проводниками лишнюю баночку Юрочке, в далёкую Сибирь – он там служит руководителем и дирижёром. А Коленька сам приедет – он тут неподалеку шоферит (так и не пошёл в фамилию – упрямый – доселе горевал Лев Моисеевич) и нет-нет, да и заскочит...

Промелькнувшая, было, мимо машина, внезапно резко затормозила и, рыча прогоревшим глушителем, начала сдавать назад, поравнялась с Англичанином и встала.

Лев Моисеевич тоже остановился, поставил сумки на землю, недоверчиво глянул на лимузин и загородил драгоценную поклажу своим телом. На всякий случай. Мало ли что. Вон что вокруг творится: то одного грабителя накроют, а он в Англию успеет смыться, то другой в Израиль. Ищи потом свищи...

Но, едва глянув на краснолицего, отяжелевшего от возраста и седин, солидного мужчину, с трудом выбравшегося из-за баранки, моментально успокоился и радостно вскинул:

– Вовочка! Безухов! – Лев Моисеевич по сию пору не ослабел памятью, безошибочно вспомнив маленького мальчика из кружка фанфаристов и барабанщиков, обделённого при рождении хорошим слухом, но отличавшегося отменным чувством ритма. – Я тебя сразу узнал. Ты совсем не изменился!

– Ну, уж, конечно, не изменился... – только и нашёлся смущённый Вовочка.

Ему было очень совестно. Так совестно бывает юной институточке, впервые в своей невинной жизни услышавшей не совсем приличные анекдоты поручика Ржевского в присутствии маман и папá. А вдруг старый учитель узнал его раньше, когда смалодушничавший поперва Ушастый хотел проскочить мимо? Вдруг понял, как хотел не заметить Вовка Льва Моисеевича?

По внешнему виду искренне обрадованного, хлопотавшего словами Англичанина определить было невозможно... Учитель был мудрее...

Пробивший кожу стыд постепенно сходил с отвыкшего от таких нежностей Безуховского лица.

– Да, да! Нисколько! – не унимался бывший руководитель фанфаристов и барабанщиков, лукаво склонив набок головку, похожую на одуванчик с остатками пуха. – Точно такой же, как и был. Даже пятно на брючках на том же месте.

– Какое пятно? – не понял сначала, начавший сильно сдавать здоровьем, Ушастый, но вовремя вспомнил фотографию из газеты в собственноручно изготовленной папой рамочке, почти багете. – Ах, вы про это. Досталось мне тогда от матери...

– А как, кстати, твои родители? Как мамочка с папочкой? Я их хорошо помню, – всё щебетал и щебетал соскучившийся по человеческому общению старый учитель.

Он бы наверное мог ещё много чего вспомнить, но внезапно осёкся, не дожидаясь известного ответа, и сочувственно закивал головой: понимаю, понимаю...

А после грустной паузы, как бы извиняясь, пробормотал:

– А я вот всё живу, – и со вздохом добавил, – один...

Потом Лев Моисеевич суетился, помогая Безухову правильно – чтобы не побились – установить сумки и рюкзак в багажник, без конца повторяя:

– Вовочка, да мне рядом. Зачем же... Ты, наверное, такой занятый человек. Я сам потихоньку. Мне ещё два раза сходить. Я же тут, неподалеку...

По дороге Англичанин рассказывал про Коленьку и Юрочку. О том, как им повезло с жёнами... Особенно Коленьке во второй раз... О том, какие способные у них детишки... Особенно последний Коленькин... Радовался и грустил...

Они подъехали к тому же самому домику... В точности такому, каким помнил его Безухов со школьного детства, ни на йоту не изменившемуся с тех пор в смысле устройства... Только постаревшему и подсевшему, как и хозяин... Такому же недостроенному и недоустроенному, как тогда... С теми же, только теперь наполовину обсыпавшимися шлакоблоками, уложенными вместо ступенек на маленькую веранду ...

Лев Моисеевич на категорический отказ Безухова пройти в дом снова засуматошился:

– Тогда подожди, пожалуйста, Вовочка. Одну только секундочку! Я сейчас! Я мигом, – и скрылся внутри.

Владимир Иванович Безухов посмотрел на часы, но ничего не увидел. Он был совсем в другом измерении и времени...

Через несколько минут Лев Моисеевич вернулся, сияя счастливой улыбкой. В одной старческой лапке он держал подёрнутую плесенью банку с солёными огурцами, а вот в другой... В другой была фанфара с ярко-алым вымпелом, нисколько не потерявшим свой первоначальный, столь памятный Ушастому, цвет!

Рука Вовочки Безухова начала судорожно шарить по правой брючине в поисках пятнышка краски, нечаянно посаженным на парадные штаны. Чтобы прикрыть... Чтобы не испортить фотографии...

Пятнышка не было. Только накатила на глаза, откуда ни возьмись, влажная поволока, размыв в одно большое пятно и фанфару, и банку с огурцами, и старенького Льва Моисеевича...

Вовка, уткнувшись лицом в пионерский музыкальный инструмент, тяжело опустился на размытые дождём шлакоблоки...

Есть всё-таки волшебная сила в искусстве!

ДиН-библиотека

НАШИ АВТОРЫ

АРУТЮНОВА КАРИНЭ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Тель-Авив/Киев

Прозаик, художник. Родилась в Киеве, с 1994 года живет в Израиле. Лауреат фестиваля памяти Ури Цви Гринберга в номинации «Поэзия» (Иерусалим, 2009). Публикации в иностранных и российских журналах «Порт-фолио», «Отражение», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Сибирские огни». Шорт-листер премии Андрея Белого за сборник рассказов «Ангел Гофман и другие», лонг-листер премий «Большая книга», «НОС» за дебютный сборник «Пепел красной коровы», выпущенный издательством «Колибри» в серии «Уроков русского». Вторая книга «Скажи красный» вышла в издательстве «Астрель» в 2012 году.

ЕЛИСЕЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Москва, 1980 г.р.

Родилась и выросла в небольшой деревне в Чувашии. Окончила Чувашский государственный университет по специальности бухгалтер. Проработав несколько лет по специальности, сменила сферу деятельности, и начала работать в банке. Сейчас работает в сфере кредитования, в свободное время пишет рассказы. Не публиковалась.

ИОСЛОВИЧ ИЛЬЯ ВЕНИАМИНОВИЧ

Хайфа, 1937 г.р.

Родился в Москве. Окончил мех.-мат. МГУ в 1960 году по специальности «механика». Работал в различных НИИ. В 1957-1958 гг. участвовал в литобъединении МГУ на Ленинских горах, которым руководил Николай Старшинов. Публикуется с 1958 года. Стихи были включены в машинописный журнал «Синтаксис» №4, 1960, который не вышел из-за ареста составителя А.Гинзбурга. В 1991 году переехал в Израиль. Профессор технического университета.

КАМИНСКИЙ СЕМЁН

Чикаго, 1954 г.р.

Родился в городе Днепропетровске. Прозаик, член Международной ассоциации писателей и публицистов, Международной федерации русских писателей и Объединения русских литераторов Америки. Образование высшее техническое и среднее музыкальное. Работал преподавателем, руководителем юношеского фольклорного ансамбля, менеджером рок-группы, директором подросткового клуба и рекламного агентства, режиссером и продюсером телевизионных программ, редактором. Публиковался в России, Украине, США, Канаде, Израиле, Германии, Финляндии, Дании, Латвии, в том числе в журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «LiteraruS», «Зинзивер», «Ковчег», «Сура», «Время и место», «Побережье» и многих других. Лауреат премий журналов «Дети Ра» (2011) и «Северная Аврора» (2012). Автор книг: «Орлёнок на американском газоне». Рассказы и очерки – Чикаго: Insignificant Books, 2009; «На троих». Сборник рассказов (в соавторстве с В. Хохлевым, А. Рабодзеенко) – Чикаго: Insignificant Books, 2010; «Папина любовь» – Таганрог: Ньюанс, 2012; «30 минут до центра Чикаго». Рассказы – М.: Вест-Консалтинг, 2012. Живёт в Чикаго (США).

МАКСИМОВ ЮРИЙ

Челябинск, 1950 г.р.

Родился в Челябинске. Автор двух книг прозы. Лауреат областного литературного конкурса в номинации «Проза».

МАТВЕЙЧЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Красноярск, 1933 г.р.

Родился в Татарстане, в деревне Букени Мамадышского района. Окончил суворовское и пехотное училища. лейтенантом командовал пулемётным и стрелковым взводами в Китае и в Прибалтике. После демобилизации из армии учился в Казанском авиационном и Красноярском политехническом институтах

(1956-1962гг.). Получил диплом инженера-электромеханика. Работал токарем-револьверщиком, разнорабочим, электриком, инженером-конструктором, главным инженером НПО, директором предприятия. Депутат райсовета трёх созывов. С 1993 года работал журналистом в редакциях газет, переводчиком с английского и испанского языков. Преподавал английский детям и взрослым. Президент Английского клуба при Красноярской научной библиотеке и Почетный председатель «Кадетского собрания Красноярья». Первые рассказы опубликовал в 1959 году. С тех пор стихи и рассказы публиковались в журналах, газетах, альманахах, антологиях и коллективных сборниках. Автор нескольких книг, поэтических сборников и публицистических статей («Вода из Большого ключа» (сборник рассказов), «El InfiernoRojo – Красный Ад» (роман), «Три войны солдата и маршала» (проза), «Благозвучие» (стихи и проза), «Казанова в Поднебесной» (роман), «Возврат к истокам» (проза), «Признания в любви» (любовная лирика), «АЗА-ЕЗА. Прошлое. Настоящее. Будущее» (публицистика), и др.). Член Союза российских писателей. Первый заместитель председателя Правления КРОО «Писатели Сибири».

МУМИНОВ САЛАХИТДИН ОМИРДИНОВИЧ

Тараз (Казахстан), 1963 г.р.

В 1987 году окончил филологический факультет Джамбулского педагогического института. Работал в школе учителем русского языка и литературы. Кандидат педагогических наук, доцент, литературовед. В настоящее время преподаёт литературу в ВУЗе. Лауреат международной премии им. А.С. Пушкина для учителей русского языка и литературы стран СНГ и Балтии. В 2008 году стал писать рассказы. Его рассказы публиковались в «Литературной газете», литературных журналах «Русский глобус», «Топос», «Наша улица», «День и ночь». Произведения автора вошли в лонг-лист второго международного литературного конкурса журнала «Лампа и дымоход» (номинация «Малая проза», 2011 г.), шорт-лист 9-го международного литературного Волошинского

конкурса (номинация «Литературная критика», 2011 г.), шорт-лист Литературной премии имени Марка Алданова (2011 г.), лонг-лист Каверинского литературного конкурса (2012 г.).

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Москва, 1975 г. р.

Окончил ММУ №1 имени И.П. Павлова и Литературный институт имени А.М. Горького. (Семинар Г.Н. Красникова). Работает учителем истории и обществознания в столичной школе и Культурно-образовательном центре Литературного института им. А.М. Горького. Редактор журнала «Основы православной культуры в школе». Автор стихотворной книги «Московский кочевник». Лауреат премии малой прозы им. А. Платонова 2011 года.

Публикации: «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Народное образование», «Основы православной культуры в школе», «Переправа», «Юность», «Литературные известия», «Поэтоград», антология стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института имени А.М. Горького «Поклонимся Великим тем годам», антология военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!...»

ПЛЁСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Москва, 1958 г.р.

Родился в Москве. В 1977 году окончил Московский Приборостроительный техникум, затем служил в армии. Работал электриком, проходчиком в Метрострое, водителем автобуса, кровельщиком. Учился в 2002-2003 годах на заочном отделении Литинститута. Пишет рассказы и стихи. Публиковался в журналах «Дон», «Двина», «Луч», «Воин России».

РАЙБЕРГ ЛАНА

Нью-Йорк

Родилась в Минске. Образование получила в Витебске, где в 1982 году закончила художественно-графический факультет пединститута. Работала воспитателем в детском саду, маляром,

чертёжницей, художником-оформителем в строительной организации, дизайнером на телевизионном заводе, преподавателем декоративно - прикладного кружка в Доме Культуры железнодорожников, выставляла акварели на городских и республиканских выставках. Сотрудничала с редакцией газеты «Витебский Курьер». Эмигрировала из Витебска в США в 1992 году. В Университете Искусств Филадельфии преподаёт искусство младшим школьникам. Член Лондонского Объединения Художников Воображения и Бруклинской Ассоциации Художников. Состоит в Клубе Писателей Нью-Йорка, ежегодный автор альманахов эмигрантской прозы «Побережье» и «Арена». Автор книг: «Картонная Луна», «Олежкины истории», «Кризис Жанра», «Записки Провинциалки». Регулярно выставляется в электронном журнале «Русский Переплёт». Рассказы публиковались в иммигрантских русскоязычных журналах и сборниках-альманахах: «Побережье», «День и Ночь», «Пилигрим», «Арена», «Панорама»; журналах: «Русская Америка», «Потомак», «Анна», «Вестник», «Русский Ванкувер»; газетах: «Новое Русское Слово», «Русский Базар» и др..

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Илья Иослович</i>	
Анкета.....	3
Липа.....	12
По лестнице наверх.....	23
<i>Семён Каминский</i>	
Пицца-гёрл.....	42
<i>Лана Райберг</i>	
Романтическое путешествие в Париж.....	63
<i>Салахитдин Муминов</i>	
Деда Лиля.....	75
Почтальоны.....	77
<i>Оксана Елисеева</i>	
Пустые надежды.....	81
<i>Каринэ Арутюнова</i>	
Дочери Евы.....	91
<i>Александр Орлов</i>	
Чужак.....	103
Юродивые дни.....	109
<i>Владимир Плёсов</i>	
Дорога.....	115
<i>Александр Матвейчев</i>	
На пороге двойного бытия.....	125
<i>Юрий Максимов</i>	
Волшебная сила искусства.....	151
Наши авторы.....	182

Приложение к журналу «День и ночь»
№1, 2012

В оформлении обложки
использован рисунок Ланы Райберг

Подготовка к печати: М.Наумова, Ю. Жукина
Оформление и вёрстка: Владислава Васильева

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения
«День и ночь»

Адрес редакции: Красноярск, ул.Ладо Кецховели, 75а, оф.103
Телефон редакции (391) 243 -06 – 38

Сдано в набор 05.12.12. Подписано в печать 10.12.12 Формат 60x84 ^{1/16}
Усл. печ. л. 11,75. Бумага офсетная Тираж 500 экз. Заказ 12-228

Отпечатано в типографии «ЛИТЕРА-принт», ИП Азарова Н.Н.,
г. Красноярск, ул. Гладкова, 6, т. 2-950-340